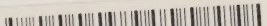
THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3476
.B288
B6
1928



This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/bolshiepuzyrkikn00bars

Николай Баршев

Большие пузырьки

Государственное издательство

НИКОЛАЙ БАРШЕВ

PG3476
.B288
B6
1928

БОЛЬШИЕ ПУЗЫРЬКИ

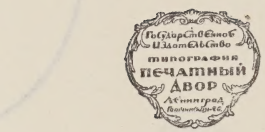
КНИГА РАССКАЗОВ

Bol'shie Puzyr'ki

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
PROPERTY OF
LIBRARY
AT CHAPEL HILL

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
В. Д. ЗАМИРАЙЛО



Гиз № 22846/л.
Ленинградский Областлит № 51348.
14 1/2 л. Тираж 5 000.

БОЛЬШИЕ ПУЗЫРЬКИ

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая,
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

С. Есенин.

*

Глава I.

Нынче ветер охальничает нестерпимо. Весна ему в голову ударила или другое что, а только куражится, как хочет. Подремлет, подремлет на ветках, а после проснется и, вдруг, ни с того, ни с сего, а так, здорово живешь, как дунет под петуший хвост.

Не ходи зря по ветру!

Замоталась, растрепалась спесивая поступь, курам — на смех, петуху — на конфуз... Но опять уже смутная ветровая дрема до нового озорства, а надумалось такое — и махом, прочь с веревки в грязь хозяйское белье.

Держи, лови требуху стиранную!

И только панталоны тетушки Саши задержались и раздулись до невероятности, а тетушка Саша — сама худоба. Зачем ей такие?

Величаво трепыхают они кружевными раструбами — вот-вот оторвутся и поплывут, но вдруг сморщились и опали. И спит уже ветер, повиснув на деревьях, а те по-весеннему темные, ждут солнца и птиц...

— Постойте, пустите, Петр Иванович, никак белье улетело...

Небольшая оттяжка событий, пока без влияния на их конечный результат. Все свелось к тому, чтобы, высвободившись из объятий Петра Ивановича, подбежать к окну. Впрочем, из окна, также как и от диванчика, отчетливо видно белье, упавшее в грязь, и также нет никакого желания итти за ним на двор. Потому повторилось с безразличием:

— Так и есть, улетело.

Мысль же и руки заняты шпильками, вылезшими из прически.

У Петра Ивановича в этот момент раздосадованное лицо, вернее усы, — они белые, волосками кверху и всегда самодовольны. В виду неожиданного перерыва, не упущен случай взглянуть на себя в зеркало.

— Все в порядке, красив, как всегда, и даже особенно...

После этого действие перенесено от диванчика к окну.

— И как, Дунечка, вы можете раздражать мужскую нетерпеливость, просто даже до слез, до мученья. И притом раз белье улетело к небесному полушарию, — ему возврата нет.

В ответ слабое возражение, хотя и неизвестно против чего.

— Ах, что вы, как можно.

В то же время настойчивая рука Петра Ивановича быстро снята и добавлено уже с разочарованием:

— Только вот тетя Саша идет, — она и подымет.

Теперь уже события не могут рассчитывать на предполагавшийся конец: дуняшины пальцы тихонько барабанят по стеклу, усы же Петра Ивановича окончательно раздосадованы и лезут в ноздри.

— Однако, и скоро же ходит ваша тетенька, — рысистая женщина. Мало в ней, знаете, этакой престарелой солидности, наверно и на базаре не торговалась, а что спросили, то и дала. Эх-ма, хозяйственность у вас в доме не на высоте.

И опять взгляд в зеркало.

Красив, как ихтиозавр, — это еще кассирша командированная отметила, — городская с образованием, а вот поди ж! Запомнилось, конечно, на всю жизнь.

Встал рядом с Дуней у окна и посмотрел на нее.

— Ну, и девица, — стихия! И отчего так интересно устроено, что они боятся, а мы любопытствуем?

И зашептал, как недавно у диванчика:

— Все же, Дунечка, скажу вам напоследок и со всем откровением, что вы элемент высшего качества.

— Мерси.

Теперь забарабанили вместе. Потом Петр Иванович задержался и спросил:

— В резюме говоря, встреча моя с тетей — обязательный факт?

— Да, уж конечно.

— Гм! — и запел вполголоса:

„Никто не даст нам избавленья."

И опять вместе с Дуней, пальцами по стеклу.

Тетушка Саша сама на кухне, а голос здесь:

— Ну и ветрище окаянный.

Шлепок мясом о кухонный стол.

— Теперь все белье в грязи.

В лоханку прогрохотала картошка.

— Хоть стирай сызнова.

И сейчас же, приоткрыв дверь:

— А ты тоже, Дуня, чего смотрела?

— Тетенька, так, ведь, он, ветер, сразу...

— Сразу, сразу. Эх, ты...

Тетушка уже в комнате.

— Вот-те на, здрасте, Петр Иванович, — уж простите, — руки грязные, вы что ж это не на дежурстве и даже как бы не ко времени?

— Тетенька, он шел, шел...

— Молчи!

Остается пожать плечами и, отвернувшись к окну, опять барабанить.

— А ты, молодой франт, — тетушка вытирает о передник руки, — ежели ты с желтым кантом, докладай мне сам, как по телеграфной ленте. Я, брат, вашу службу знаю. Было время, сама в молодости на ключе клевала...

Петр Иванович для бодрости и независимости слушает, облокотившись на спинку кресла.

— Ну, как же, как же, осведомлены в вашем жизнеописании, уважаемая Александра Петровна. Так вот, видите ли, шел я в известном вам направлении и хотел до некоторой степени братца вашего повидать, но он вот оказался рядом и пишет.

— Пишет? — взметнулись тетушкины руки, — то есть, как это так пишет?

— Так точно, пишет-с.

— Еще того не легче, где ж это он водку-то раздобыл? Удивляюсь даже, упустила.

И снова, переходя в наступление:

— А ты, значит, вместо братца сестрицу подцепил: тебе все одно. Нигилист ты, как я погляжу, в роде, как мой петух. Так и будем знать. А там, говоришь, пишут? Тоже дело. А ну-ка сейчас проверим.

Тетя Саша перенеслась к закрытой двери:

— Теша, Терентий, а Терентий Петрович!

Из-за двери немедленный сиплый ответ:

— Сестрица моя, Александра Петровна, я пишу,— этим все сказано.

Больше сомнений нет.

— Так и есть, устосался. Дуня, да перестань ты барабанить, чай, не в полку, не барабанщик!

И снова, наклонив голову к дверной щели:

— Что̀ сказано-то, что̀, болезный? Да открой дверь, идол, хоть на минутку. Брось ты писанину-то свою проклятую, писатель сивушный!

Из-за двери ответы поступают без задержки:

— Сестрица моя, Александра Петровна, повторяю: я пишу, — этим еще раз все сказано.

Необходимо использовать последний прием.

— Пишу, пишу, да читает-то кто?

Приэтом тетушка Саша хитро подмигивает присутствующим.

Дверь тотчас приоткрывается. За ручку двери держится, откинувшись от стола, Терентий Петрович. Он пропускает в открытую дверь свою голову, оглядывает всех поверх очков и затем произносит сипло и уверенно, затворяя приэтом дверь:

— Не вы, конечно, а другие, просветленные, когда-нибудь прочтут...

На этом фронте у тетушки Саши все выяснено.

— Так и есть, бутылку вылакал и еще половинка на столе наготове. Братец мой, Терентий Петрович, вы дурак и пьяница, — этим все сказано. Ну, а здесь-то, здесь-то что? Племянница с мужчиной хороводится, а про белье и не вспомнит?

Дверь снова приотворяется на минутку:

— Извиняюсь, действительно, через стенку ощущал некую люботу, но было ни к чему.

Вслед закрывающейся двери тетушка добродушно машет рукой:

— Ладно, сиди уж там, не распахивайся, дописывай. Ему, видите ли, ни к чему. Оттого нынче барышни-то с двенадцати лет и рожают почем зря, тоже вот так, ни к чему...

Петру Ивановичу кажется, что можно вмешаться и сказать что-нибудь умное.

— Больная атмосфера вокруг, Александра Петровна, оттого все.

И вдруг новая ошеломляющая вспышка:

— А ты доктор, лечить ходишь? Это в твои обязанности входит? Вот пойду и скажу надсмотрщику телеграфа — так, мол, и так, у вас телеграфист Иванов по женской практике служит, а потому и сменяется на дежурство по личному усмотрению. Думаешь, не скажу? Скажу.

И вдруг неожиданно и совсем другим, уже дружелюбным стариковским тоном, вправляя в платок на голове выбившиеся волосы:

— Ну, ладно, Петр Иванович, пожурила тебя для порядка и будет. Да и сам подумай, батюшка: мясо — кусается, картошка — что орехи, белье — в грязи, братец — с утра пораньше, и ты тут, как тут, свое крутишь. С вашим-то братом, неженатым, — гляди в оба. Вот оженишься — другой разговор, а пока кто ты? — женская опасность и только. Ну, ладно, не ругай меня, старую. Знаешь, ведь, что скажу правду и все забуду. Добра всем хочется. Только ты все же ступай, а то и взаправду на службе хватятся, да и по мне плита скучает.

Прощаясь, сказал Дуне вообще:

— Серость, никакой интеллигентности.

Проходя мимо зеркала, подумал:

„А надо будет поинтересоваться, что такое ихтиозавр?“

На дворе проснувшийся ветер сорвал фуражку и погнал ее колесом по грязи. Пришлось бежать за ней, а когда догнал, заметил, что оторвалась пуговица у одной из штрипок. Отстегнул ее и, грязную, сунул в карман. Штанина потеряла фасон. Оглянулся на дом и заметил в окне Дуню.

— И чего она все торчит там, как безработная?

И еще пришло в голову:

— Не снять ли и вторую штрипку для равенства?

Дуня долго еще стояла у окна. Видела, как медленно протащился товарный поезд, как прошел кто-то с преждевременно зажженным фонарем, стало чего-то грустно и всплакнулось весенними девичьими слезами.

А тут тетя Саша из кухни:

— Дуня, Дунюшка, хочешь сметанки с творогом? Проголодалась, поди, а сметана как масло, да и творог — тоже первый сорт...

Ответила жалобно, утирая слезы:

— Только с сахаром.

И добавила, оживляясь:

— Петр-то Иванович сейчас за шапкой по грязи гонялся, вот потеха! Даже с брюками что-то приключилось.

Глава II.

Станция „Большие Пузырьки“ — станция не первоклассная, но сильно пьющая.

Сам уважаемый начальник станции Василий Федорович, человек с морщинистыми тяжелыми веками, никогда не отстает в этом от прочих. По этому поводу рассуждает он, как всегда, не торопясь и внушительно:

— Конечно, пережили мы, слава богу, царскую, досконально изучили самопляс для народных масс, теперь, молодые товарищи, подошли мы вплотную к русской горькой. Очень, очень приятно познакомиться — светло-божественная, с тобой воспрянет род людской...

Когда хмелел, бывал придирчив по-старому.

В Пузырьках народ незлобивый, отходчивый — прощает многое.

В былое время провинившийся стрелочник или другой какой небольшой чин выходил от начальства пригорюнившись и сообщал интересующимся:

— Плохо мое дело, братцы, потому очень уж обходителен был, даже на „вы“ назвал, не иначе как не жилец я больше на станции — удалит без боли.

Так и выходило — удалял.

В теплой компании любит Василий Федорович размягчаться и вспоминать давнишнее, когда, что греха таить, сам был еще щенком, и все шло не так, как теперь.

Тертому железнодорожнику отчего и не подразнить молодежь беспечальными, легкими днями труда — у кого таких не бывало?

— Помню я, пожалуй, лет этак двадцать — двадцать пять тому назад вступишь честь-честью на дежурство, мобилизуешь, конечно, удочки и айда на реку. Клёв был тогда, братцы, конечно, удивительный: только закинешь, а рыба-то одна за другой, одна за другой, чуть что не за хвост друг друга от отчаянья хватает. Перенаселенность у них была тогда страшенная, а рыба все серьезная. Конечно, как засвистит под семафором, приходилось все же сматываться и на станцию спроведываться. Да что? Поезд не волк, в лес не убежит: отстоится у семафора, веселее дальше покатится. Ну, а вечером, конечно, пулечка на квартире, а там, смотришь, и дежурству конец. Что и говорить, хорошо жилось, вольготно. И куда все это ушло, чорт его знает.

И обведет всех тяжелыми от век глазами.

— Я так полагаю, — нехотя отзовется Терентий Петрович, — что пружина теперь в часах другая, пружина, говорю, напористей. Подменили ее, вот часы и бегут быстрей — успевай оглядываться.

Выслушает внимательно и усмехнется Василий Федорович.

— Что ж, может и так, может ты и прав.

И в раздумье начнет перебирать бывшие рыжие, а теперь с зеленоватой сединой баки.

За сына своего, за товарища Андреева, за мученическую смерть его в контр-разведке доживает он на том же месте свои недоуменные дни.

Припоминается:

В самый день непоправимой вести о сыне отмерли ноги у отца Василия Федоровича, отмерли, да так и остались.

И не мог договориться дед со своими слабыми мыслями о тяжелой смерти внука.

— За что замучили? Ведь хороший был, праведный, ведь играл я с ним.

А сыну говорил, как бы с укором:

— Думал я, Вася, что и ты беспременно умрешь, как же иначе? А то, как-то горя совсем немного. Вот, ведь, и мать раньше померла, хоть, она теперь бы не выжила.

Стали неповоротливыми дедовские думы, безногими, как и сам он.

Теперь изо дня в день вытаскивают деда на скамеечку к стрелочной будке, благо близко, просится все поглядеть, как поезда движутся.

Тоскует по ним стариковский дух.

Возле поездов родился, возле них и помереть хочется, ведь глядишь на все ровно, как на свое собственное, а может и любовней.

И всякий проходящий мимо деда норовит обязательно пошутить с ним.

Пуще всех старается составитель Егоров, развеселый человек, с выправкой старого солдата с флаж-

ком за голенищем и толстой часовой цепочкой на груди.

Не отстает от него и молчаливая во всем остальном, с лицом небритого мужчины, стрелочница Шукина, которая всякое распоряжение начальства встречает укоряющим вопросом:

— А раньше?

И лишь иногда заменяет его обиженными словами:

— Не верится даже.

Наконец, обязательно не промолчат проходящие гуськом, тихою поступью товарные кондуктора, навьюченные фонарями и ящиками.

— Дедушка-то Федор сидит будто ненормированный.

— Чего там, его дело чистое, к нему сам инспектор труда не подкопается.

— А подо что копаться-то, коли ног у него нет? Как есть человек без основания.

— Плюнь, дед, ну чего глазеешь, чего ждешь, ужли за пятьдесят лет службы не осточертело?

Сидит, молчит. Какой непорядок заметит — головой качает, а то и поворчит:

— И чего только сын смотрит?

Видно старой выделки дедовская пружина, оттого медленно с большим опозданием ведет его к предназначенному часу.

И не умер, как хотел дед, с отцовского горя Василий Федорович, все также с норовом тянет

лямку ДС'а, то есть начальника станции, и только по малости осталось уже рыжего в его баках.

За долгое время службы старался подбирать по своему вкусу помощников, о которых отзывается:

— Мои ДСП пьющие, конечно, но в крови идейные железнодорожники. Взять хотя бы Терентия Петровича. Пока дежурит — не агент, а философ, и в то же время рысак. Ну, а кончил и, извиняюсь, уходит, конечно, в загробную жизнь до следующего дежурства.

И вдруг подхватывает с горячностью:

— А что тут новенького, сочувствующего ферта вместо Сидоренко прислали и меня не спросили, так то, конечно, хвалить — погодить. Сочувствующий-то он может быть и от всего сердца, а только сдается рылом в помощники еще не вышел. Нет, нет, где же? Видать сразу — не тот коленкор. Покойный-то Сидоренко, царство ему небесное, орел был и громовержец. Голос один такой, что телефонные трубки чуть не лопались, — самому страшно. Покойный-то Сидоренко за бутылку пива без согласия соседней станции из аппарата любой жезл на отправление поезда вытягивал. А как его вытащишь, коли так устроено, что весь электрический механизм тому противится? Хитрая штука, а вот дошел своим умом и практикой. Так с таким-то не пропадешь, с таким спи спокойно. А это что? Зажжет ни свет ни заря фонарь и мечется. Сочувствующий — одно слово.

Тихая станция „Большие Пузырьки“ — до села верст десять, до кладбища — пять и все лесом. Летней порой грибов в нем хоть косой коси, особенно подберезовиков, и ягод лесных разноцветных тоже до противности много. Все это мальчишки да девчонки выносят к вечернему на бойкий торг. Пассажирам — в охотку да в диковинку, пузырьковским ребятам — веселая прибыль. Пойдет она на ленты, на семечки, на молодую радость, на девичий смех.

Но сейчас весна, продавать еще нечего, оттого у неожиданного прохожего особенно гулко цокают каблуки по каменным плиткам пустого станционного здания.

На путях дышет на все лады и перекликается с людьми сонливый маневровый паровоз, сговаривается на своем языке, на какой путь ему ехать. Иногда коротко звякают буферными тарелками и лениво скрипят кузовами неизвестно зачем и куда передвигаемые вагоны.

Но редки все эти звуки, а больше покой, дремота, ожидание...

Когда стемнеет, рассыпаются по путям ночные знаки — цветные неровные огни. Изредка меняются они и непонятно все это, как поступки скрытного человека. О чем предупреждают, что говорят пристальными взглядами своими?

Знают про то лишь немногие.

— Скоро будет поезд, готовьтесь, ждите...

Станция, безвестная станция, этап, для кого-то последний, кому-то не нужный, но как всегда — бессменно дежурят здесь и бродят тоска да скука, но как всегда — рождаются здесь одни и те же слова при несчетных разлуках и встречах.

Да полно, станция ли это? Может, не „Пузырьки“ это? Может, сама жизнь наша, страна наша с бездомными голосами, непонятными взглядами вышла из леса и стала при дороге?

Пробегут мимо нее и эти, и те, и другие, и еще, и опять, а она, беспросветная, все так же, как дед безногий, будет смотреть, слушать и чего-то ждать.

— Скоро будет поезд...

В конце платформы шепчутся два потерявшихся в темноте голоса. Сперва тихи слова их, потом доносит:

— У вас такие груди маленькие, а между прочим ты просишь тридцать копеек...

И снова темны слова их.

Да полно, станция ли это? Может, не „Пузырьки“ это?

Кому надо, кто хочет — поймет...

Глава III.

А-о-ы-и-пи-пи-пи...

Это фонопор — из угла телеграфной комнаты пытается как глухонемой сказать какие-то слова.

Чуткое ухо знает, кого зовет он. Оттого сейчас Петру Ивановичу пришлось встать, потянуться и не спеша пойти в угол.

Там он почесался, крякнул, снова почесался и наконец, сняв трубку, спросил, как полагается, грубо и сонливо:

— Ну, чего?

— „Пузырьки!“ — надрывается сосед.

— И я говорю „Пузырьки“. Чего?

Но сосед или не верит, или не слышит и продолжает надрываться без остановки:

— „Пузырьки“, а „Пузырьки“!

У Петра Ивановича опять зачесалось, потому ответил не сразу, когда сосед стал уже затихать.

— Ну, да, да, оглох?

— Петя, это я, Ваня, где ускоренный?

Петр Иванович все так же нехотя, но уже снисходительней бурчит:

— Во-время — идет к нам.

— Так, так...

Помолчали.

— Петя!

— Ну, что?

— Петя, у вас жалованье платили?

— Нет еще, а что?

— Да так, Петя, ну, как там у вас вообще?

— Ничего.

— Петька, а делать тебе я вижу нечего.

— Приезжай помогать.

— Своей лени хватит. С кем дежуришь?

— С Терентием.

— Ну-ну...

Разговор кончен, можно опять дремать.

Трещит телеграф, мычит фонопор, пахнет керосином, телеграфной краской и раскаленным железом ручного фонаря.

В соседней комнате, за столом, под большой висячей лампой сидит в пальто и форменной фуражке дежурный по станции, Терентий Петрович, и ждет, когда настоится чай.

Позади него на лавке у стены неприметно горящий фонарь развесил от себя по стенам и давно не беленому потолку выдуманные им тени.

Перед тем, как заварить чай, Терентий Петрович неоднократно ходил от стола к шкафу, доставая всякий раз какой-нибудь один предмет: то стакан, то блюдце, то постный сахар, то ложку. Когда все было принесено, Терентий Петрович тщательно мыл стакан и долго разглядывал на свет: нет ли где неясности в стекле. Если приэтом присутствовал собеседник, Терентий Петрович обязательно признавался ему:

— Люблю, брат, я чай пить до отказа, так, чтобы, как говорится, с выходцем и полотенцем. Очень он, чай, сон отбивает и на рассуждения притягивает. Опять же суетливость умеряется. Например, такой случай... — и начнет вспоминать, пока не заварится. Сегодня говорить не с кем, и Терентий Петрович,

засыпав на-глаз в большой жестяной чайник горсточку чая, перелистывает позабытые кем-то на столе объяснения агентов по поводу бывшего на днях несчастного случая.

„После прохода поезда № 26 мне сказали, что на путях кто-то стонет. Тогда я совместно с рабочим Андроновым отправился к месту происшествия, где действительно обнаружился неизвестный посторонний человек с тяжелыми признаками жизни и отрезанной правой ногой ниже колена. Однако с большим трудом я успел добиться от него, что имеет он от роду 32 года, женат первым браком и имеет троих детей в возрасте от семи до трех лет. Больше добиться мне ничего не удалось, так как неизвестный пополз от меня прочь с пути под платформу, а отрезанная нога осталась лежать на конце шпалы. Рабочий же Андронов полез за ним под платформу и там досконально допытался, что гражданин беспартийный, а зовут его персонально Морозов, и что от него исходит запах винных паров, от которых повидимому он и впал в бессознание. Тогда я решил поспешить к дежурному по станции и сообщил ему о случае, но когда тот прибыл к месту происшествия, пострадавший уже находился в мертвом состоянии. Что же касается отрезанного кармана, обнаруженного мною на пути, то в нем оказался кусочек морковки. Больше показать ничего не могу".

Терентий Петрович коротко и безразлично вздохнул.

— А об ноге и забыл упомянуть, растяпа, — куда ногу-то дели? Необстоятельно. Как это люди не знают, что к чему?

И уставился в сумеречное знакомое окно.

В мозгах не то дума, не то дремота.

За окном весенний водянистый снег лапает стрелочные насторожившиеся огни, и от того, что горят они спокойно, кажется еще неподвижней налитая до самого неба тишина. Даже фонопора не слышно.

Вдруг издалека заныла и глухо хлопнула станционная дверь — раз, другой, третий — учуяла поезд. Вслед за ней спохватился и по-своему обрадовался ему вообще неразговорчивый старый колокол. По путям закачался на ходу оживший фонарный огонь стрелочницы Щукиной.

Терентий Петрович надумал повременить с чаем и досмотреть все дело.

В показаниях машиниста значилось:

„На соседней станции к моему паровозу подходил какой-то гражданин без определенных занятий, прилично одетый, в пенснэ, а пальто имело на нем вид дохи, около тридцати четырех лет и в шапке-ушанке, каковой безуспешно просил довести его до соседней станции. Означенное лицо находилось в неопьяненном состоянии".

Внизу этого показания помощник машиниста нацарапал:

„Подтверждаю все показания полностью, сам же ничего не видел, так как подбрасывал уголь в топку".

Все эти показания были вложены в акт происшествия, в котором против графы „непосредственная причина“ было выведено:

„Собственная неосторожность покойника“, а против графы „косвенная причина“ так же уверенно проставлено:

„Запах винных паров“.

Терентий Петрович, не спеша, сложил все дело и встал.

На часы смотреть не надо, часы ни к чему, и так ясно, что пора выходить встречать поезд. Привычным жестом подхватил с лавки фонарь, поправил фуражку и пошел к выходу.

За фонарем — головой по потолку, туловищем по стенке двинулась громоздкая тень самого Терентия Петровича, а за ней мягко потянулись, переставляясь каждая по-своему, тени от всех предметов. Они дотянулись до самой двери и, как только фонарь вышел, оборвались и встали на свои прежние места.

Издалека прибежал впопыхах одинокий гудок паровоза. Без толку заметался он по всем закоулкам и быстро затаился в пузырьковской тишине. На смену ему пришел далекий рокот.

С подходящего поезда казалось, будто под станционную платформу подставили колеса, и она покатилась к нему навстречу.

На платформе стоял Терентий Петрович и смотрел, как надувался приближающийся паровоз и,

как вдруг, будто проткнутый чем-то острым, паровоз лопнул и, обливаясь паром, стал замедлять бег.

Следом за ним покорно катились потерявшие счет верстам и людям вагоны. Они нерешительно выбирали себе места, где бы остановиться:

Вот-вот здесь... нет дальше, чуть-чуть дальше...

С одного из них еще на ходу соскочил на платформу светлый круг фонаря и пошел к Терентию Петровичу.

В круге главный кондуктор. Тон бравый:

— С благополучным прибытием, начальство.

И снисходительно козырнул.

— А кроме всего прочего примите этого гражданина. Как он деньги собирал, я его и заприходовал. Вхожу, знаете, в вагон, а он голосит. Ну, что это, никакого порядка!

Гражданин в разговор не вмешивается. Стоит около, ежится под весенним холодком, руки — в рукава, под мышкой гитара.

Терентий Петрович ничего не ответил, повернулся и пошел в дежурную. За ним кондуктор и гражданин.

Там он записал в настольный журнал сведения о поезде, выдал жезл и опять ушел на платформу.

Уходя, пробурчал в стенку:

— А ты пожди...

Гражданин поклонился с веселой почтительностью вслед уходящим, затем выпростал руки из рукавов, положил гитару на лавку и сел рядом с ней. Ги-

тара откликнулась. Он положил на нее руку и сказал голосом ушедшего Терентия Петровича:

— А ты пожди...

И задумался.

Дали второй звонок.

Рассыпалась по платформе человеческая забота, перебегает по-мышиному: глаза на кипяток или ларек, а мысль позади у своих вагонных норок. Вспугнет звонок и разбегутся под ним мышиным скоком.

В толпе тычется старушка.

— Батюшка, скажи мне, куды поезд-то идет — взад или вперед?

— А тебе куда, немощь?

— К внучке, батюшка, звала она, чтоб беспременно к святой Пасхе. Тут и свадьба ее вскорости.

— Ежели к святой Пасхе, то не иначе, как взад. Только поездов таких нетути — ау, все вышли...

— Эх, и куда ты, отсталость, карабкаешься? От самой панихидой пахнет, а тоже на свадьбу. Сиди дома, преклонная, не греховодничай.

— Тьфу, тьфу, тьфу тебя, мозги у тебя в носу, вот что...

Над кипятильником надпись:

„Кипятку нет из-за дров".

Писала Щукина, поленилась растопить во-время. На недовольство Терентия Петровича только и сказала:

— А раньше?

И ушла.

Сопит паровоз — будто большой пилой пилят на доски лес.

— Давай третий.

Последние мыши у норок.

Дрожит мелкой дрожью кондукторский с горошиной свисток. У вагона прощаются. У одного рука в загривке, козырек на носу.

— Ну, Митюха, увидь'мся, дык увидь'мся, а не увидь'мся, дык так твою так...

Обнимаются.

Гудит паровоз. Решил он уходить в прохладную весеннюю тьму распугивать в полях и лесах белых еще зайцев и серых белок.

Оторвались от платформы вагоны, двинулись, пошли, заторопились. Вот три красных фонаря треугольником вниз, три огня, три глаза, три точки, три... Ну, что ж ушел, так ушел — забыли, не вспомним. У каждого свои неповторимые, как облако, встречи, а для них своя судьба и своя мудрость.

Терентий Петрович хотел войти в дежурную и задержался у закрытой двери. В дежурной чужой голос весело напевал под гитарные переборы:

Не форси, форсун форсистый,
Я тобой не дорожу.

Пускай уже открыта дверь, а в ней Терентий Петрович, пение не прерывается. На краю стола сидит оживленный Петр Иванович, на лавке — гражданин.

Мимо окон пройду боком,
На тебя не погляжу...

— Ну нет, поглядишь, еще как поглядишь-то!

Голос у Терентия Петровича рокочет. Он крепко с дребезжанием ставит фонарь на лавку.

— Оттаял?

Гитарные переборы продолжаются. Петр Иванович уже давно у себя.

Голос громыхает:

— Тебя спрашивают, аль другого кого? Оттаял?

И внушительный взгляд поверх очков.

Только сейчас привелось разглядеть нижнюю челюсть гражданина: громоздкую, как верх у извозчичьей пролетки. Лицо в складках.

— Ну?

Гражданин почтительно вскакивает. От этой неожиданности наступавший делает шаг назад.

— Товарищ начальник, наконец-то мы одни!

Тут Терентий Петрович для сохранения достоинства решил сочно плюнуть и отвернуться. Дальше уже слушал со спины.

— Взываю к вашей культуре, не наказуйте! Учтите, что я бывший актер и любитель поэзии. Ныне совершаю турнэ во всероссийском масштабе. Жизнь моя (приэтом рукой мягко вперед и вверх, а сам на носки) для них, для масс. Люблю Ахматову. Сегодня читал им, вернее дарил:

У меня есть улыбка одна...

— Желаете? Могу совершенно бесплатно.

Встал в позу и откашлялся.

Когда Терентий Петрович сердится, он без нужды и со стуком переставляет по столу разные предметы. Если стук меньше — значит отходит. А тут почти сразу перестал стучать и даже взглянул через плечо, и даже усмехнулся.

— Беспокойное твое, это самое турнэ, да и улыбка небритая больше с голодухи.

И уже повернувшись упрекнул только по обязанности.

— Зачем тренькал в присутственном?

Ответ мгновенный:

— От нервности.

Терентий Петрович сперва смешался, а потом только и нашелся сказать:

— Ну, садись.

— Сяду. Но, послушайте, неужели я задержан до выяснения причин, которые и послужили поводом к задержанию?

Терентий Петрович отмахнулся.

— Чорт с тобой, иди куда хочешь!

— Мерси за внимание, но мне некуда больше спешить — чужбина (широкий жест вокруг). Особенно здесь, в „Больших Пузырьках".

И сразу очень деловито.

— А propos, почему „Пузырьки?" Если большие, то скорее уж пузырищи!

— Не выросли еще. Заезжай лет через десять, тогда в самый раз дозреют. Сядь!

Терентий Петрович собирался ужинать:

— Ваша доброта равняется плюс или минус бесконечности. Итак, я сел, сижу и буду сидеть. Скажите, как вас звать? Поверьте (рука к сердцу), это не простое любопытство: я буду молиться за вас в кроватке.

— Не балясничай. А звать меня просто — Терентием Петровичем — вот как. — И, подумав, спросил:

— А тебя?

В ответ неожиданная скороговорка:

— Зовут меня персонально — Морозов, имею от роду 32 года, женат первым браком и имею троих детей в возрасте от семи до трех лет, от которых исходит запах винных паров.

Терентия Петровича удивить трудно. Выслушал и махнул головой в сторону акта.

— Перелистал?

— Счел своей приятной обязанностью. Да, жил грешно и умер смешно, — сам по частям расползся. И знаете, Терентий Петрович, по-моему я помню этого Морозова. Он зарабатывал хлеб так же, как и я. Наверное, его столкнул с поезда какой-нибудь негодяй кондуктор.

— Не грусти: тебя также беспременно столкнуть следует.

И, покрутив с сожалением головой, Терентий Петрович принялся за ужин.

Приэтом он размышлял вслух:

— Да, уж каких, каких ни бывало, а этакого первый раз нанесло.

И снова поинтересовался:

— Ну, а все же, звать-то тебя как?

В ответах полная готовность:

— Товарищи зовут Коко, вообще же Андрей Спиридонович. Что же касается фамилий, то у меня их до чорта. Как-нибудь на досуге перечислю все — вы и выберите по своему вкусу.

Утер нос рукой.

— Я много страдал, Терентий Петрович.

— За свое, или чужое?

— Это деталь, — и потупился.

Новых вопросов долго не было, наконец надумалось:

— Есть хочешь?

Гость уже за столом.

— Не смею отказаться. Знаете, при моем подвижничестве для масс — в зубах часто не поковыряешь.

Ели молча.

В конце ужина Терентий Петрович полюбопытствовал.

— Водку пьешь?

Взглянули друг другу в глаза и поняли.

— П-и-ю, — протянул гость, и оба тихо и сочувственно засмеялись.

Теперь у Терентия Петровича все было выяснено. Он встал и притушил лампу.

— Утро вечера мудренее, давай спать. Я на столе, ты на лавке. Чего-то устал я. Бьешься, бьешься, как каторжный.

Прибрал ужин, влез на стол и, подложив под голову журналы, почти тотчас же задышал, как спящий.

Только не спал Терентий Петрович, а думал. Припомнился ему вчерашний сон. Будто бы трава все, трава такая весенняя, да тихая, а из травы хвост торчком. С виду гладкий, длинный и как бы хищный. Трава колышется, а он нет. Страсть, как схватить его хотелось. Чтобы подойти, цоп и кверху. Только неизвестно было, с какой стороны в траве зубы. Подойдешь, а вдруг, как он лязгнет. А может и наоборот: затаился там зверь ласковый и в беде. И оттого в груди и выше было стеснение и чего-то грустно.

Утром, как проснулся, хотел записать все и забыл, а сейчас ясно опять представилось, и даже на мысль навело:

„Сон-то со значением, только не поймешь еще, что к чему".

И вдруг решил:

„По всему выходит, что турнэ приютить следует..."

Гость устраивался на лавке. Когда улегся — прислушался, спит ли Терентий Петрович, затем взял гитару и запел вполголоса:

Шла дорогой той старушка, увидала сироту,
Приютила, обогрела и поесть дала ему...

В дверях соседней комнаты тень Петра Ивановича.

Уложила спать в постельку,
Как тепло промолвил...

Со стола сонный окрик.

— Прекратить в присутственном!

Петр Иванович у себя. Гитара быстро отложена.

— Эх и тоска же у вас здесь, тоска, керосиновая тоска!

Из соседней комнаты сочувственное:

— Да, уж интересов никаких.

На сегодня слова все. Над столом и лавкой — сон. И над „Пузырьками“ — сон. До утра поездов не будет...

На другой день, когда Терентий Петрович, сдав дежурство, собрался домой, он разбудил спавшего:

— Идем со мной, человек Коко.

Тот быстро и молча с лавки долой, пальто из-под головы на плечи, кепка на затылок, гитара под мышку, руки в рукава.

— Ну что ж, пошли?

— Пошли.

— А-о-ы-и-и-пи-пи-пи, — обрадовался вслед им глухонемой фонопор.

Глава IV.

Теперь хлопот у тетушки Саши на одного человека больше — на человека Коко.

Как привел его Терентий Петрович, так и посейчас живет. А с той поры весна успела отколупать оконную замазку, вынуть вторые рамы и войти в людское жилье.

Теперь весенняя щедрость во всем и сполна: в солнечном воздухе, птичьем слете, в стуках человеческого сердца.

И нынче уже при открытом окне отдыхает, за самовлюбленным самоваром, вставшая как всегда, ни свет, ни заря, тетушка Саша.

На самоваре отражается утреннее солнце и растянутое по выпуклой меди простое в заботливых морщинках лицо.

— Вот тебе и нечаянная радость — нахлебничек, утоли моя печали. Дунюшка, хочешь пенку? Глядика, румяная, как и ты. Да, что это, Теша, придете вы или нет? Ведь остынет же все.

Входят оба.

— Вот и мы, здравствуйте, тетя.

Тетя сурова:

— Здравствуй, дядя, — садись, гостем будешь.

И вдруг, не выдержав:

— Ты как, надолго к нам прибогаделился-то? Ну, чего уставился? Чего молчишь? Чего хлеба не берешь?

— Простите, задумался о нашем родстве. Вот и сейчас, приглядывался к вам и решил: нет, нет вы не тетя, какая вы тетя! Вы самая настоящая мамуля, добрая такая мамулька за самоваром. Мамочка, дай мне сюда молочка и сахарочек.

Лицо на самоваре смеется, а голос из-за самовара все еще сердитый:

— Вот, Теша, твои все дела.

Терентий Петрович молчит. Любит он поговорить один на один, а первое время это было особенно часто.

— Пойдем, Андрей Коко.

Запрется с ним в комнате, поставит на стол водку, две рюмищи объемом по стакану каждая, а после усядется поудобней и начнет:

— Какая наша жизнь? Вот плеснешь водкой на пол, чуть-чуть растечется и высохнет, как будто и не было. Свист, а не жизнь. Есть и нет: без нужды родилось, без нужды и кончилось. А куда свист уходит, неизвестно. Да и сам-то свисток просвистел, скажем, миллион раз и развалился. Подумаешь, великое дело сделал. Так вот и люди и весь свет, а в „Пузырьках" особенно.

Андрей Коко собеседник ни какой-нибудь, с понятиями и слушает приятно, а только, как заговорит, выходит не то или шутка.

— Вы, Терентий Петрович, привыкли смотреть на жизнь сквозь дырку кондукторского свистка — это ошибка. Нужно радостней. Поверьте, даже смертная грусть — превеселая штука. Пример: мы и наши винные вместилищи. А вот из личных переживаний. Вернулся я как-то из турнэ, предвкушаю уют, не тут-то было: дверь на запоре, ключ у дворника, жена же неизвестно даже у кого. Ау! Так было жалко! Брюнетка, ведь, такая с усиками и к хозяйству способная. Конечно, записочка — „прости, прощай, береги себя, не прощу себе, прощаю

тебе“,— слезные росы заметны, словом все чин-чином. Письмо перед выстрелом. В актерках, ведь, моя Клавочка. И, знаете, такая глубоко порядочная женщина, увезла только свое. Мой же реквизит хотя и стильный, но в глаза не бросается и комнаты не обременяет. Вот хожу по опустошенному гнезду и страдаю, страдаю, страдаю до холодного пота. Конечно, нужно принять во внимание свежесть чувств и молодость. Ведь, всего только седьмая по счету безграничная любовь. И, вдруг, обращаю внимание на пакетик в розовой тесемочке. Приютился незаметно в уголку подоконника. Я же все больше у окна страдал, только пакетика не примечал долго. Развернул, смотрю: мозолин и еще кое-какие женские интимности жизни. И представилось мне, как она письмо писала, а потом пакетик сбирала, и что может как раз вот сейчас досадует, что забыла его, так как надобность в нем приспичила. И порадовался я за Клавочку. Знаете, тогда радовался, а теперь просто смеюсь. Молодчина! Вот это, понимаешь ты, пузырьковский философ, трезвость жизни? Письмо перед выстрелом и мозолин. Смертная тоска и смешки существования.

Терентий Петрович чокается.

— Пей, Коко, чудной ты, видать, что актер, не говоря худого слова, сразу-то и не поймешь, что к чему.

— Ваше здоровье просвещенный меценат мой. Ух, и сосуды же вы предоставили — двухспальные с мезонином.

Однажды, Терентий Петрович вытащил из стол кипу исписанной бумаги и сказал смущенно и как мог почтительно:

— Вот, Коко, человек вы бродячий, а на ходу думается всегда лучше. Мы же на месте, а вы может уйдете скоро. Мало ли что. Так вот хотелось мне показать для пояснения. Водка это одно, а тут другое. Тут как бы откомандирование из Пузырьков.

Человек Коко щиплет гитару и как всегда либо шутит, либо напевает:

Все на свете пузырьки,
Малые, большие...

И вдруг, глуша рукой струны:

— Что у тебя здесь, мой неопытный и простой друг Теша?

И, раскрывая свою важную тайну, сказал Терентий Петрович многозначительно:

— Это сны...

— Сны? Да что ты говоришь? Какие?

— А всякие: и свои и чужие. Уж сколько лет сбираю. Ежели выяснится к чему знамение было, то поясняю. — И вздохнул с сожалением.

— Только теперь чего-то редко снится стали. Приходится вот старые перечитывать.

И стал перебирать исписанные листы.

Коко отложил гитару.

— С пояснениями, говоришь? Любопытно, любопытно. Покажи-ка. Да — регистрация по всем пра-

вилам. Вот что, запиши-ка ты мой сон. Когда-нибудь и его перечитаешь. Так вот, представился мне как-то людный коридор, длинный-предлинный, с версту, а то и больше, и весь темный. Только в конце его окошко, а из окошка солнышко чу-у-ть-чуть трепыхает. И ступает по коридору тому развеселый слепой человек. Да нет, что я, даже не человек, а целый великан, богатырь, мощь человеческая, и не разберешь: то ли пьян, то ли без ума, то ли мудрость его ослепила...

Терентий Петрович весь внимание. Великан изображается наглядно.

— Понимаешь, вот так вот ступает, а пол под ним трещит и ломится, как весенний лед, башкой потолочные балки рушит. А то вдруг остановится и запляшет. Очень страшно и смешно, когда слепой пляшет. Видал когда-нибудь? Падает, людишек топчет, все вокруг валит...

— Да вы что! Вы что! — Стучит в дверь тетя Саша. — Никак уже в белой? Чего дом рушите? Теша, отворись!

Отвечает Коко:

— Мамуля, не мешайте — сейчас мое пробуждение и занавес. Прошу от дверей отойти...

— Ах, это ты все работаешь? И когда ты, друг любезный, сгинешь? Чисто что нарост — дикое мясо.

— Мамуля, наросты возникают на больном теле. Жалею вас и целую.

И еще голос Терентия Петровича:

— Сестрица моя, Александра Петровна, мы беседуем — этим все сказано, отойдите от двери.

— Да отойду уж, конечно, отойду. Мое дело предупредить по-родственному. Ведь, не для вас, чай, олухов, дом-то строился, а для семейственных, тихих. Батюшки никак молоко убежало!

От двери быстрые шаги. Тетя Саша уже гремит на кухне...

— Ну валяй, Коко, дальше.

— Да, так вот, значит, крушит он все, а сам вперед прет прямехонько к свету. Впрочем, иначе ему и деваться некуда: впереди — коридор, а позади — разрушение. Такая уж у него судьба коридорная, — предназначенный путь. А солнце-то из окошка чем к нему ближе, тем все пуще, да пуще. Так и шпарит светом, так и радует. Вот дошел богатырь-великан до света, окошко вышиб, шасть в него и загромыхал, и от того вся земля гукнула, дрогнула, а я рассмеялся и проснулся...

— Давно видел? — после молчания поинтересовался Терентий Петрович.

Коко сел и устало провел рукой по лбу.

— Не помню, Теша, может и видел, а может и так.

И задумался, закрыв лицо руками.

— Ну, а все же, к чему это и отчего? Какое знамение-то? Ты как думаешь?

Но Коко уже с гитарой и опять такой, как всегда.

— Послабляющее расстройство пищеварительных внутренностей и утонченность нерва.

И, словно спохватившись, с воодушевлением под гитару:

Ах, все на свете пузырьки,
Малые, большие...

— А ну тебя, — раздосадовался Терентий Петрович. — Думал, как с человеком по-душам поговорить, дно свое показать, а ты все свое: теньди, бреньди, балалайка, — приэтом неумело, как мог, передразнил приятеля.

Коко снисходителен.

— Терентий, ваше зрение еще недостаточно вооружено, чтобы проникнуть сквозь толщу моей артистической оболочки.

Терентий Петрович озадаченно трогает очки.

— Неправда, очки у меня хорошие, все вижу. Вон челюсть-то у тебя как расперло. Все от смеха твоего, от непутевого.

Коко пренебрежителен.

— Не переходи на личности и довольно о снах. Прячь их в ящик.

Затем свысока.

— Ты убедил меня, Терентий, что и слепые видят сны. Вот спутал, чье это? Блока или мое? Ты убедил меня, Терентий... нет, конечно мое, и неплохо. Но меня интересуют в настоящий момент не сны, а жизнь пухлая, сонная, пылкая, короче го-

воря — ваша племянница, созревший плод, Евдокия. Если не уйду от вас во-время — за последствия не отвечаю, так как имею склонность к деторождению. Ваше мнение?

Терентий Петрович обиженно собирал листы и слушал невнимательно.

— А мне какое дело?

Коко торжественно подошел к нему и положил руку на плечо.

— Истинная мудрость обрушилась на язык твой. Мужайся, сын мой. А я пойду туда, куда влекут меня все мои органы чувств.

Подобрал гитару и расшаркался.

— Прощайте, добрые усы!

Еще Терентий Петрович любовно упрятывал сны, а из соседней комнаты уже доносилось:

А-б-б-идно... да-с-садно... да слез, да мученья,
Что в жизни... так поздно... я встретился с табой...

Терентий Петрович заслушался, наклонившись над незадвинутым ящиком.

— А ведь хорошо поет, стерва ненужная, пожалуй соблазнит, — прошептал он и почему-то с сердцем задвинул ящик и два раза щелкнул ключем.

— Сжечь их придется, вот что.

Глава V.

С утра погрохотали, повозились в небесах и бросили. Так ничего и не вышло. А досадно. Все крепко надеялись на грозу и ждали ее, а больше всех петух. Пришлось даже кур бросить. Бросил, облюбовал ограду, грузно взлетел на нее и наобещал всему миру дождя, червей и прочих радостей. От натуги вытрясено из собственного хвоста и пущено по ветру два белых пера самых длинных, наилучших. Была-не-была, пропадай-пропадом красота неотразимая, петушья красота! Долго топтался он по ограде и орал до тех пор, пока проходивший мимо мальчишка не шлепнул его по гребню картузом.

Петух попробовал удержаться, но сфальшивил и сорвался с ограды.

А гроза прошла по другим местам, и опять стало тихо в людях от круглой синевы и желтого жара. Там, наверху, мешались оба цвета в один зеленый и лились в прохладную тень пузырьковского кладбища.

У одной из могил Дуня и рядом Коко — одна рука обнимает гитару, другая Дуню.

— Дева Евдокия, чью бренность мы сейчас попираем?

Дуня высвободилась и, подойдя к могиле, похлопала рукой по могильному дерну.

— Здесь маменька моя, — и добавила тихо: — Здравствуйте, маменька.

Лениво и тихо погудывают струны. Коко шаркает ногой:

— Пожалуйста, не забудьте от меня привет и соболезнования. И пойдем, пойдем отсюда дальше, одинокая тщерь пузырьковская.

Снова обнял ее за талию и повел вдоль могил.

— Называй мне здесь гниющих и повсюду православных.

Дуне было весело чувствовать руку Коко, оттого говорила улыбаясь:

— Вот здесь Сидоренко, бывший помощник.

— Сидоренко? Ну, ВЦИК ему небесный.

— А вот здесь Андреев, сын Василия Федоровича

— Что? Стоп, Евдокия, какой Андреев?

— А комиссар, его в городе убили, едва тело отыскали.

— Ну-ка постой. Присядем-ка здесь. Так, значит, под березкой устроился? Что ж, его отпевали?

— А как же, отпевали, конечно.

— А он неверующий.

— Ну, что ж из того? Василий Федорович сказал: хоть после смерти утешим. Может, он того и хочет, а уж не может. Дед-то был против.

— Так... так... Это хорошо, что отпевали. Ему наплевать, а вам утеха — так-то веселей. Эх, Дунюшка, а ведь видел я, как схватили этого Андреева. Был тогда в городе такой прапорщик Морозов. Ну, и нюх же у него был на коммуниста — очень

нежный! Такой густопсовый борзой кобель с мертвой хваткой. Только тогда и без чутья было ясно, кто перед нами: раз мужчина в кожаных штанах, кончено, улика, как говорится, налицо.

„Комиссар? — Это густопсовый спрашивает. Вопрос, конечно, только для формы.

„А тот оглянулся кругом и как ножом:

„Комиссар.

„А сам Морозова так и сверлит глазами, так и сверлит.

„Ах, чорт возьми, вот сцена! Да взять бы хоть меня. Я такого понарассказал бы, что оказалось, будто и штанов на мне никаких нет, что это моя собственная кожа от натуги и политических воззрений такая черная да глянцевитая. А тут, поди ж ты, комиссар — и баста. Ну, что это, Дуня, к тебе ласкаешься, а ты противишься?

„Вот, значит, Морозов ему:

„Пойдем, говорит, товарищ".

„А тот:

„Зачем итти? И здесь хорошо".

„И вздохнул всей жизнью.

„Вот это, понимаешь, игра! Этакой не выдумаешь. Дуня, смотри-ка, смотри, птичка какая вон там на крест села; вся черненькая, головка красная, а в клюве пушок. Семейная страда у них теперь. Вот и мы с тобой... ну-ка подвинься поближе, вот так, вот так... милая.

„А Морозов-то и говорит:

„И то верно, чего там канителиться, зайдемка сюда, на двор".

„Как зашли:

„Ну-ка, покажи свои золотые зубки".

„Пиф, паф, и прочь за ворота — дело сделано.

„А я покурить присел. Знаешь, Дуня, удивительная вещь, после такой штуки обязательно затишье наступает и в человеке, и вокруг, не надолго, конечно. Потом скоро все попрежнему.

„Так и тогда, смотрю, петух жен своих попривел, как раз возле головы землю лапами расчесывает — вот-вот зацепит; морда красная, довольная. Здесь же и курочку одну обласкал. А я сижу под солнышком, ветерком обмахиваюсь. И захотелось мне узнать, кто он такой. Полюбопытствовал по документам — Андреев Иван Васильевич. Тут напала на меня жалость: одно дело человек, а совсем другое — если с фамилией. Знали бы мы все друг друга — жили бы иначе. Челюсть всю как есть размозжил Морозов-то, прямо смеяться нечем, такой прохвост.

„Не мое дело защищать. Ведь, актер я, всего только актер, Дунюшка, теперь и всегда. Для всех вас, для себя, для всей жизни. Никогда не знаю, кто я буду завтра и что буду делать. А, да чорт с ним совсем! Давай-ка лучше споем вместе".

В дуниных глазах одурь от снов и сытой жизни:

— Ну, что вы, Андрей Спиридонович, на кладбище.

— А что ж — где же и петь? Подумай, моя Прозерпина: людская темная кость внизу, а сверху под зеленью мы с тобой — молодые, влюбленные, с семиструнной гитарой. Итак, наш последний разученный романс.

Внутри у Дуни ходит мягкий вал и радостно ласкает все мысли и чувства. Можно петь, можно и молчать. Только пусть не отнимается, пусть все также крепко сжимает и обессиливает волю чужая, смелая рука. Но рука ушла к гитаре.

— Итак.

Запел первым, а за ним пришлось и Дуне. Когда Дуня распелась, Коко замолчал и только подыгрывал.

Милый, купи ты мне дачу,
В городе душно мне жить;
Если не купишь — заплачу
И перестану любить...

И опять еще громче, повелевающий к повторению голос:

Если не купишь — заплачу
И перестану любить...

Коко быстро отложил гитару в сторону и наклонился над Дуней. Дуня не противилась... сказала обрывающимся голосом:

— Милый, как тихо... Только петух...

После долгого молчания ответил глухо Коко, отходя за крест:

— Да, петух... действительно... это кладбищенский.

Дуня полулежала на могиле, сквозь дрёму слышала, не понимая:

— Ну, товарищ Андреев, на твоей могиле привелось мне петь и радоваться жизни. То ли не поминки, то ли не панихида? Тебе ли не понять этого?

Похлопал рукой по могиле и подошел к Дуне.

— Вставай, Дуня, пойдем, гитару мы с тобой впопыхах сломали. Больше уж не попоешь под нее.

Дуня поднялась и сказала безразлично:

— Да что вы — такая жалость.

И полюбопытствовала о своем:

— Отчего это, Андрюша, вы сейчас называли меня как-то по-другому. В роде как Клавочкой, что ли?

Коко не ответил.

Когда проходили мимо могилы матери, остановился.

— А ты прочла, что на кресте-то карандашом приписано?

— Нет, а что?

— „Как ни хворала, а померла". Эх, жалко гитару, так жалко, так жалко, прямо не расскажешь как...

Глава VI.

Последнее время Василий Федорович — туча-тучей: досадил сочувствующий. Оттого стал захаживать к Терентию Петровичу и по-душам откровенничать. Поведет тяжелыми веками и начнет, как всегда, не торопясь:

— Вот уж истинно, как волка ни корми... ну, с какой стороны к нему ни подойдешь, как ни заговоришь, а он только то и знает: „Не так все идет у вас, Василий Федорович, совсем не так, а от вас, ведь, многое зависит. Сейчас поработаешь в „Пузырьках", — забудешь, что и на свете живешь. А нужно, чтобы и здесь было, как во всем нашем Союзе. Ведь, подумать только, что даже красного уголка до сих пор нет, а пора бы, кажется, проснуться да на революцию посмотреть".

„— Зачем же, говорю, в угол-то ее загонять? Пусть что б повсюду". Куды там! На днях сознался, будто сообщил он куда-то, уж не помню куда, что всю станцию перешерстить необходимо, других людей понаслать — иначе, мол, стоячее болото.

Коко неожиданно вмешивается:

— Ну, что ж, Василий Федорович, вот и выходит, что вы вагоны, а он паровоз. Вам либо стоять, либо за ним двигаться.

Но тяжелые веки на Коко не останавливаются — будто его и в комнате нет. Раз видать, что стре-

кулист, значит, можно и сквозь него глядеть. Потому поразмыслил о своем и продолжает:

„— А пиши, говорю, куда хочешь только на свои канцелярские. Казенные не для этого отпущены. Вот тоже, скажем к примеру, и керосин. Ведь, сколько раз видел и предупреждал: светло и без того, а ты уж с фонарем. Зря, ведь, жжешь". Да, ну его! Только смеется:

„Не в том суть, Василий Федорович, не в том суть".

— Так в чем же тогда? Научите нас, серых. До того на днях довел... Начал как бы притчей:

„Вот, говорит, если на перегоне поезд разорвется, тогда паровоз с головной частью обязан ход ускорять, иначе может так получиться, что оторвавшаяся часть нагонит переднюю и побьет вагоны. Так вот, говорит, вы, Василий Федорович, на оторвавшейся лихо катите, потому нам еще скорей надо".

— Ах, ты, молокосос ты красный, думаю, кого инструктируешь? Меня. Ну, и времена, Конечно, я с подчиненными всегда был хорош, но за панибрата — это что ж такое? К сожалению, сейчас таиться приходится — как по Писанию: „Будь кротким, как голубь, и хитрым, как змей". Ничего не поделаешь. Поборол себя и сказал ему только: все это верно, но забыл ты, что кондуктора на оторвавшейся части обязаны тормозить до полной остановки.

Отвел душу Василий Федорович и затих, перебирая баки.

— Съел? — Впервые за всю беседу обмолвился Терентий Петрович.

— Съел.

Молчат долго, даже Коко не вмешивается.

— Ну, пойду я.

Поднимется Василий Федорович и уже прощаясь опять о своем:

— Намедни в декретный отпуск ушел. Теперь хоть немного передохну от него, от учителя-то своего.

И пойдет медленным шагом старого человека.

По его уходе Коко пророчествует:

— Ну, Теша, в этом вопросе филе видно — перешерстят вас — как пить дать. Хорошо, что я не в штате, а только временный при Дуне.

И пойдет к ней.

Коко уж давно нет, а Терентию Петровичу надумается ответить:

— Плевать.

Последнее время беседы сократились, особенно после того, как Терентий Петрович сказал Коко:

— А, ведь, ты зря девочку испортил. Здесь, брат, не город, людей мало, все на виду. Ты же, сдается мне, уйдешь скоро.

Коко озабоченно ходит по комнате.

— Да, да, уйду. Эх, Терентий Петрович, ты хоть в снах живешь, а другим-то как прикажешь? Пусть же и другие живут, кто как умеют. Велика, думаешь, радость отпраздновать двадцатипятилетие

супружеской деятельности, да еще где? В „Пузырьках“. Вот тебе китайская мудрость: если хочешь жить как человек, но умереть как собака — так никогда не женись... если же хочешь жить как собака, а умереть как человек, — Коко стал в позу и пропел, — тогда женись, тогда женись, тогда женись. Так-то, друг, и поверь мне, будет она помнить все это, и с благодарностью помнить — этим жить будет. Ведь ваше настоящее — это прошлое.

Терентий Петрович глядит на Коко поверх очков.

— И когда ты перестанешь людям баки-то заправлять? Ходуля ты без подножки!

— Теша, философ милый, пойми — это нужно тебе знать. Вот то, что я сказал сейчас — это уж прошлое, а то, что скажу, — это будущее. Настоящего нет — его для „Пузырьков“ выдумали. Вам, бедняжкам, нельзя жить не сказанными словами. Ну, и чорт с вами, живите как хотите, а я уйду.

И точно в скорости собрался уходить.

Зашел к Дуне.

— Ну, прощай, Прозерпина. Сегодня к вечеру с ускоренным уезжаю в пространство — нужно чинить гитару, скучно ведь без песен.

Дуня сразу заплакала.

Коко сел напротив и пальцем стал разводить по черному столу крупные брызги дуниных слез, простых, как и сама Дуня. Голова у Коко на бок, взгляд на палец.

— Не плачь, обманутая. У тебя есть выход — Петр Иванович. До сих пор страдает, но меня боится, а разве я страшный? Я — веселый. Говорил он мне, что все гадает на тебя и выходит ему пожар с благополучным исходом.

И сказала Дуня, сбирая все свои короткие мысли:

— А как же с ребенком?

Палец Коко задержался на замысловатом разводе, взгляд на Дуне.

— С ребенком? Сотри капельку с носа, вон какая смешная—дрожит, а сорваться не может. Так с ребенком, говоришь? Это неожиданность.

На минутку примолк, а затем встал и, глубоко вздохнув, дотронулся до дуниного вздрагивающего плеча.

— Ну что ж, ровно через девять месяцев ты будешь матерью — это наверно.

И дальше уже воодушевленно:

— Подумай, какое святое и ответственное слово: мать. За это время много о чем подумаешь, многое поймешь. Но, по правде сказать, все это мелочь. Переездные сторожихи, например, всегда беременны. Поверь мне, Дуня, и, если сумеешь, запомни мое изречение (при этом у Коко палец кверху, осанка внушительная): в жизни нет подвигов — есть только мелочи, мелочи, необходимые как шаги, или как вот твое морганье. Спешите запомнить — только один раз проездом через „Пузырьки“. А твое? Твое-то уж

конечно, мелочь. Но мелочи должны быть разные. Ну, прощай.

И, вдруг, нежно уже из дверей:

— Дунюшка, наша радость была на кладбище. Вот видишь: даже и там может быть незабываемое.

Больше к Дуне не заходил, а Терентию Петровичу сказал между прочим:

— Ну, вот ухожу опять к массе.

Терентий Петрович оторвался от своих записей.

— В турнэ?

— В турнэ.

— Ну, ну, — и снова заскрипел по бумаге.

Коко не уходил.

— Гитару починю, петь буду...

Терентий Петрович приставил перо к чернильнице:

— Нашел чем хвастаться. Не на небо ведь улетаешь?

Коко рад, что удалось разговориться.

— Вот, вот, это-то и хорошо. Все лучше, чем у вас здесь. А вот вы если и полетите, то не заметите. Сонное зачатие, сонные роды и смерть ваша рыбья: лучше говорить не помер, а заснул.

Терентий Петрович долго наблюдает за Коко поверх очков.

Коко почтительно ждет ответа.

— Ну, что ж, ступай, что ли, куда шел-то,—сказал наконец Терентий Петрович и опять взялся за перо.

— Иду, прощай, доморощенный мудрец.

И вдруг сморщился по-старушечьи и зашамкал, кивая головой:

— Еще кланяюсь я мамульке и всему хозяйству ее вкупе, еще кланяюсь начальству, выбитому из колеи и ущемленному, а также телеграфной штрипке и всем, кто живет по разным пузырькам, будет ли то большой дом, город или деревня.

Думали, что на том и расстались...

В тот день Петр Иванович вычитал в научном журнале:

„Ихтиозавр — ископаемый морской ящер мезозойской эры, по форме тела напоминает дельфина...“

Перечитал, вникнул, отшвырнул журнал и, задумавшись, отошел к окну.

„Городская, с образованием, а такая развратная“ — несколько раз подумал он про кассиршу и любовно припомнилась Дуня, не так как всегда, а серьезно и чисто...

Глава VII.

Утром того дня, когда плакала Дуня, а Коко собирался уезжать, проходил через „Пузырьки“ товарный поезд. Пришлось ему задержаться на станции из-за отцепки заболевшей цистерны. Давала она течь больше 60 капель в минуту, а с такой течью на другую дорогу не примут — нужно перекачивать.

Когда поезд освободился от нее, он вздохнул облегченно и потащился дальше.

Цистерна скучала в тупике, отдавая по каплям свое нутро жадному сухому песку.

Мимо ходили и тянули носом.

— Экий дух!

Стало невтерпеж.

— Да что нюхать-то, только себя расстраивать. Все равно зря пропадает.

Пошептались в сторонке и по рассеянности саданули паровозом так, что закапало торопливей.

Первым подставил горстку составитель Егоров. Втянул с нее в рот и сплюнул с полным удовлетворением.

— Годится.

Отыскали стакан, подставили.

— Найкрепчайший. Способствует.

— Егоров, вдарь еще.

Вдарили.

Подставили ведро.

— Надо бы по начальству...

Протянулся во все стороны прохладный спиртной дух, дотянулся до станции, вошел в дежурную. Терентий Петрович пригубил принесенное и молча пошел к цистерне.

По дороге заказал сторожу:

— Сбегай-ка ко мне на квартиру, скажи там человеку, Коко, чтоб приходил — есть интерес.

У цистерны все начальство.

Василий Федорович сожалеет:

— Этакая, братцы, утечка ценности. Смотри-ка Терентий Петрович, как на землю-то льет — пропадает совсем без пользы.

Подставил палец, отряхнул, понюхал и крякнул.

Когда пришел Коко, увидел он знакомые спины, взгляды же и лица были новые. Каждому хотелось быть одному и других не замечать.

Говорили вполголоса и коротко.

Коко протиснулся вперед.

— Ну-те-ка, отпустите и мне по норме.

Опорожнил сразу чуть что не одним глотком поданную посудину, остатки плеснул на землю и, передав посудину в чьи-то торопливые руки, стал осматривать цистерну со всех сторон.

По серому громоздкому телу кто-то раскинул меловые корявые буквы:

„Метиловый спирт“.

И еще не вырвались слова, а уже отталкивал Коко от течи голодные пустые ведра и стаканы.

Оттолкнув, прокричал:

— Прекратите — смерть пьете!

Для этого ушей не осталось. Копошатся как непрозревшие щенята возле материнских сосцов.

Только кто-то, устраняя заминку, тихо и внушительно сказал общую волю:

— Не замай, не по вкусу — уходи. Здесь всяк за себя. А то мало ли что.

И отодвинул помеху в сторону, как упрямую ветку, загородившую проход.

Коко провел рукой по лбу. Эхом повторил еще раз:

— Смерть пьете.

Затем подумал вслух о себе:

— Сам-то я хлебнул больше, чем надо... А, да чорт с вами, пейте кому охота, все равно теперь поздно. Лучше уж до конца — мучений меньше.

И закричал весело:

— Вали, ребята, глуши, спирт — что надо!

Никто не оглянулся.

Шум, шум в голове и во всем теле сперва слабый, потом все гуще, как в чаще перед началом дождя. Только не настоящий ли это шум? Не все ли слышат его?.. Но сверху сплошная безоблачная синь. Откуда дождю взяться?

И никто еще не знал, что из тупика глядит на станцию насторожившимся взглядом хмельная жадная смерть.

Мелькнула перед глазами стрелочница Щукина, глотает прямо из ведра так, что горло не справляется — булькает гулко. Оторвалась передохнуть, провела рукой по губам и усмехнулась криво:

— Х-д — не верится даже...

И опять припала.

Коко крякнул и отвернулся.

И не заметил, что шел он уже прочь от цистерны, шел слепым развеселым человеком, как тот, которого видел когда-то не то во сне, не то наяву...

Вдруг неожиданно ожила мысль.

„Куда иду?“

Оглянулся. Стрелочная будка... дед... Чуть что не натолкнулся на него.

— Вот кстати для проверки мозгов.

Присел перед дедом на корточки, обхватив колени руками.

Чтобы перебить шум, надо кричать.

— Дедушка, а дедушка, к тебе на минутку. Вот разум мутится, дедушка. А, знаешь, ведь Морозовато я самолично с поезда столкнул.

Качнулся и, распустив руки, уперся в землю сперва одной, а после и другой рукой. В таком положении и остался рассказывать:

— Как тогда встретились на поезде, разговорились... вспомнили прежде всего старое, ну выпили, конечно... на скромных началах. Как сейчас помню, морковкой еще закусывали. И вдруг пришло мне все на память, все, все... я и решил... Как Морозов подвыпил, вывел я его в тамбур освежиться... дверь распахнул и р-рапа-памс — лети... Ха-ха, цепкий дьявол, чуть-что меня с собой не захватил.

Вскинулись старые глаза, глядят строго и прямо:

— Какой Морозов? Что-то не пойму я — пойди, милый, проспись.

— Ах, дедушка, да тот, который внука твоего без смеха оставил, а потом еще петух возле головы нахалил... я Клавочке, то есть Дунюшке, все это на

могилке разъяснил... на чистоту, как вот на этой самой ладошке...

У деда суровый голос:

— Иди, говорю, проспись, а коли убил, не твое это дело — не судья ты, а человек с пьяными ногами — куда поведут, туда и ладно.

— Верно, дедушка, верно. Один ты здесь живой, потому что старый и без ног, да еще тетя Саша. Ну, прощай, я ведь только, чтоб мозги проверить. Прости меня — плохо мне, крутится все, шумит... сперва полегчало как будто, а теперь опять...

Поднялся с трудом, цепляясь за деда, и, когда уходил, услышал позади тихий вопрос:

— Мучился?

Понял, что о внуке.

— Нет, дедушка,—потянулся как после сна и все.

— Ну, иди.

Пошел и не знал, что идет обратно к цистерне, и всякий предмет, даже самый тяжелый, стал сниматься с места и кружась выплывал из-под взгляда.

И, вдруг опять серое громоздкое тело, а на нем потерявшие значения буквы

„Метиловый спирт“.

Все так же мерно бегут шустрые капли теперь уже ненужные, и ширится от них по песчаной скатерти большое темное пятно.

Люди вразброд — кто на песке, кто на траве, больше лежат, бродячих очень мало.

Коко останавливается.

— Что-й-то, братцы, не пойму я, станция ли это? „Пузырьки“ ли это? Или палуба при кораблекрушении?

Из-под колес поднялся Василий Федорович и молча оперся на Коко, дыхнув на него, как из цистерны.

Обнялись.

— А и крепкий же ты, отец комиссаров! Никак еще ходишь? Стойкий, видать, что в сына.

В ответ хриплая просьба.

— Доведи до кабинета. Кончаюсь. Пил с ними, а умирать здесь за панибрата зазорно... не желаю.

Коко смеется.

— Так ты понял, что умираешь? Какой догадливый. А за панибрата не хочешь? А слышишь ли ты, начальник станции, как под семафором свистит поезд — в „Пузырьки“ просится?

В ухо Коко все тот же настойчивый хрип.

— Теперь все равно. Доведи до кабинета. Только чтоб не здесь. Прошу как человека.

— Как человека? Ну, ладно попробую уж.

Потащил, удивляясь на свои силы и, казалось, что не доведет и упадет вместе с ношей, оседающей к земле.

В кабинете Коко уложил слабеющее тело на пестрый диван, а затем подобрал туда же скинувшиеся на пол отяжелевшие ноги.

— Ну, вот теперь все в порядке, пожалуйста умирайте. Здесь уж без всякого панибрата.

Приметил, что Василий Федорович что-то шепчет, прислушался и услышал:

— Старой пружине конец...

Услышал и задумался над словами, стараясь понять их.

Неожиданно взволновался станционный колокол. Необычно и беспорядочно колотил он в медь старым языком своим и кричал надрываясь, тревожно как мог, потому что видел людскую погибель и тосковал, что не понимают его.

И это дошло до остывающей мысли Василия Федоровича, оттого что открыл вдруг глаза и пояснил шопотом, опуская последний раз в жизни свои тяжелые веки:

— Тревога или пожар...

И сейчас же навсегда забыл об этом.

На одном из несчетных ударов смолк вдруг колокол, точно изошел весь в крике без остатка.

Коко вышел на пути.

Набрел на Терентия Петровича и наклонился над ним.

— Ну что, Терентий, уходит твой свист, твоя жизнь. Скоро узнаешь, что к чему.

Услышал хлюпанье языком и медленные слова со спутанными буквами:

— Опять хвотс виджу...

И потом еще:

— Сны сожжи.

И, как полагается перед отходом, стал оправлять уже слепыми руками измазанную в травяной зелени белую гимнастерку.

В голосе Коко огорчение:

— Эх Теша, Теша. Ну, как же так? Ну, что же это? Вон комарик-то на губе присосался. Дай-ка сгоню. Кш, кш, подлый... будя попил... А то еще в гробу да с комариным прыщиком... Эх, Теша, Теша, ну как же так? Ну, что же это? — И вдруг опустился на колени, нагнулся к Терентию, будто хотел поцеловать его, но сейчас же встал и отвернулся.

Почти рядом Щукина.

Умирала, а думала, что пьяна.

Раскрыла пустые глаза и в последний раз сказала свое, пустое...

С тем и отошла.

— Тю-тю,—сказал Коко, свистнул, перекрестился и пошел прочь.

Но уже дрожала походка, и отяжелели глаза.

Столкнулся с Петром Ивановичем.

— Чего бежишь без оглядки? Никак со сна колокола испугался?

Петр Иванович задыхается.

— Григорий Спиридонович, что делается? Где Терентий Петрович? Под семафором поезд... А тут еще колокол сорвался да Егорову, как он звонил с пьяных глаз, — как бухнет в самое темя, всего окровянил... может до смерти.

— Постой.

Коко близко подходит к Петру Ивановичу.

— Постой, не беги, все пьяны, все мертвы. Радуйся, мил-человек, проспал ты даже смерть. Постой, не рвись, пуговица с мясом вырвется. Завещаю тебе Дуню, сосуд скудельный, береги ее, спите с ней в „Пузырьках“ до скончания века.

У Петра Ивановича дрожат губы, а на них белые самодовольные усы.

— Григорий Спиридонович, что это у вас челюсть как трепыхает? А, Григорий Спиридонович?

Шум, шум в голове. Не провода ли гудят? Не соседняя ли станция почувствовала, что неладно что-то в „Пузырьках“ и делится с каким-нибудь Мишей своей тревогой.

— Миша, это я Ваня, что в „Пузырьках?“

Мешаются в голове буквы, как у Терентия Петровича, и в борьбе с ними приходится кричать.

С последним усилием оттолкнулся от Петра Ивановича.

— Не держи меня, я сам! Отравился я, да не до конца. Передай там по телеграфу в жизнь: Ропнул еще один пузылек. Мне-то напре... наплевать, но так умирает, не зная того, вся сталая Росп... рост... Рас...

И снова замкнулось в мозгу и глазах на этот раз совсем.

Кружится все, шибко кружится вокруг чего-то: и цистерна, и люди, и станция, и глазами уж не поймаешь, сливаются вместе, делаются сквозными.

Эге, раздулись, плывут пузырьки, как панталоны тетушки Саши... Оторвались... летят, улетели, а может, разорвало их и бросило пылью, как споры созревшего гриба-дождевика, недаром зовут его — чортов табак.

Подожди, новые Пузыри народятся там, где и не ждешь их...

Пробегут мимо нее и эти, и те, и другие, и еще, и опять...

Вот на крылечке тетушка Саша, старенькая, утратившая все заботы. Качает головой:

— Дунюшка-то моя в девицах родила. Братец опоился до смерти, да и других всех в один день как кислотой повыело—все перемерли. Только актеришка проклятый отвалялся где-то и дальше покатил, скатерть ему на дорогу. Не было бы его, ничего бы не было. Это он все нахохотал. А здесь все новые понаехали, порядки пошли строгие, чтоб все по норме. Как жить-то дальше, батюшка?

Во взгляде навсегда невыплаканные слезы.

Помолчит пригорюнившись, а после о самом затаенном и главном:

— Хоть бы Петр Иванович не побрезговал — в любви и не то еще прощается.

Так и посейчас, видать, сидит задумавшись на крылечке. Думы ее простые, да как их выскажешь-то?

Живут в человеке разные мысли: одни на вынос, другие впрок. Из первых слова вяжутся на всякий вкус и цвет.

Пожалуйста получайте.

А которые впрок, те камнем лежат, и тяжелеет от них к земле человек. Может под камнем тем клад неизмеримый, а может только козявкино отхожее место, нам-то все равно — чужое, не общее, а до такого нам и горюшка мало.

РАССТРОЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

Так вот, гражданин, уважал я его больше себя и даже с интересом, а он оказался революционным опенком: вместо головы — шляпа, а основание тонко и мало съедобно. И было мне тогда обидно — до слез детского возраста. Знаете, как детишки иногда плачут, когда несправедливы с ними? Если прочувствовали и заинтересовались, потрудитесь выслушать все по порядку.

Прежде всего, прошу вас представить себе этакого видного мужчину, ну, просто дуб мамврийский, и притом с открытой, честной внешностью, но с бородой. Обращаю ваше внимание. На этом приходится остановиться подольше, так как здесь глубокий секрет личности.

Волос, ведь вы и не подозреваете, какая хитрая штука, ох же и хитреющая! Тут, видите ли, все дело в том, что дает он этакую солидную откровенность одновременно с мужеством. Ну, а под этим-то, граждане, под этим-то что. Вглядитесь: и обман, и пороки, и женские соблазнения. Недавно еще раз проверено личным опытом.

Оттого и на меня, смело скажу, полагайтесь. А почему? Потому что скинулось все само собой еще

при переходе моем из юноши в мужчину. При таком откровении ничего не спрячешь: улыбочка там или хитрость какая или взгляд, все на виду — получай сполна. Тут уж для убеждения в замешательстве и погладить нечего, как есть гладкое естество. Да, уж это так, так, не спорьте, пожалуйста, не спорьте! Волос, он для обмана. Оттого на женщин и не поскупились ни длиной, ни количеством. Но об них потом.

Не помню, говорил ли я вам, что имел уклон к непостижимому, особенно к определению затаенных свойств через письмо? Почерк, это, я вам скажу, как бы нутро под стеклом. Что ж вы думаете, зря человек-то вместо языка еще и перышком по бумаге поскрипывает? Язык у него в это время вон куда запрятан, однако, все его дрожание через руку на бумагу передается. Для умудренного, конечно, все как на ладошке. Эге, голубчик, вот здесь ты соврал, тут подфунькал вообще, а там возгордился. Наконец в подписи особые предметы нутра... Сознаюсь, интерес у меня к этому был неограниченный.

Эта-то страстишка и свела меня с ним. Подсел он ко мне здесь же, в скверике, на скамеечку, только не на эту, а вон на ту, которая подле Карла Маркса и недалеко от входа в Храм Воскресения. Видите? Ну, вот, подсел он, распушился так и говорит, как бы ни для кого:

— Скоро конец. — И молчок.

Догадываетесь, гражданин? Я, конечно, сейчас же по скамеечке, по скамеечке на самый край. А он усмехнулся и уже ко мне:

— Сдвинулись, говорит, и вполне разъяснилось, какой вы есть человек, и какое отношение у вас к власти. Есть боязнь, но нет любви, скорее недоброжелательство. Говорил же я про конец, да не про тот.

— А про какой же? — это уж я заинтересовался.

— А про твой.

„Невежлив, думаю, но с познаниями". Вот я, немного погодя, и спрашиваю. — Вы это как? Руководство какое имеете или так?

— Нет, отвечает, так. А кроме того я хотя и партийный, но с уклоном в графологию. Если вы зайдете сегодня ко мне на квартиру, предупрежу вас обо всем, а может, даже и охраню от злых сил.

Обрадовался я очень, однако, вида не подал, адресок же на всякий случай попросил.

— Извольте, говорит, пожалуйста, надписи у меня на дверях нет, но скоро будет.

Вытащил готовую записочку с адресом и прощается, уже за ручку. Очень приятно. Рука же у него, знаете, гражданин, сверху шаршавая, а изнутри сырая. Бог с ним. Антропик ему фамилия, а зовут Карл Иванович. Живет близко.

Ну, как не пойти? Пошел, конечно. Квартирка уютная, с парадным ходом, пол очень скользкий, а на окнах цветы.

Взглянул я на него, как он за столом сидел, и подивился про себя. Ну, как есть вся внешность в волосах замоталась, запуталась, один носишко коекак пробивается, просто смотреть щекотно и даже не на что. Сперва попугал, конечно:

— Я, говорит, пришел с Тибетской возвышенности, где работал в пещерах, и могу расстраивать личность.

— Да что вы, как же это?

— Очень просто, размножаю до трех раз.

Любопытно, но страшновато. А тут еще вытащил он из стола мутное стекло, в роде как в копоти, показал и пояснил:

— Видишь, вот здесь все. — А чего все — умолчал.

Понравилось мне это очень.

— Теперь, говорит, напишите что-нибудь не думая и, кроме того, ваш адрес.

Я и написал:

„Любви все возрасты покорны, улица Клары Цеткин, дом № 2, кв. 36".

Надо вам сознаться, что в ту пору я находился в увлечении. Подумайте, пятый десяток, а без этого не могу. Впрочем, если бы сами повидали ее, непременно бы согласились, а может, и пострадали. Господи, и от какой щедрости можно сотворить такую? Знаете, глазки, например, — на небо смотреть не надо, косищи — во, и все это остальное так пышно, что первое время взгляд отводишь будто из стыдливости, и даже не поймешь, за нее или за себя.

Катюша, конечно, по имени. Жена же моя в ревнивом уже возрасте и данных для нежности не имеет. И отчего это достойные женщины помеха мужской радости?

Да. Ну, написал я это, передал через стол и жду. А он перед собой записочку мою и так и сяк, и так и сяк вертит, и как бы размышляет, — сразу видать опыт. — Наконец, поднял носишко и говорит этак с достоинством:

— Вы, товарищ, страдаете болезнью сатира и притом контр-революционер.

„Ну, думаю, покорнейше вас благодарю". — А где же конец? — спрашиваю.

— Через это самое и конец будет.

— Скоро?

— В ближайшем предшествующем.

— И все?

— И все.

— Извиняюсь.

Очень меня все это заинтересовало и обеспокоило, конечно, потому, как-никак, а разговор ведь серьезный, не в какой-нибудь комнате, а в кабинете, да и мужчина по всем приметам достойный. Сунул ему трюшку, а он даже не поглядел. Велел только еще заходить и чтоб поскорей.

Ах, вот, чуть не забыл еще. Сперва, как я пришел, разговор у нас вышел о партийности. Может, вам интересно будет? Обмолвился он тогда:

— Хожу, говорит, между прочим, в оппозиции.

Я и воспользовался.

Разъясните, мол, в чем здесь суть, людишки мы маленькие, говорят и пишут об этом много, а нам невдомек, так как вмещаем с трудом.

Так он мне:

— Это, говорит, борьба за революционный руль.

Скажите, как просто. Запомнить-то запомнил, а не понял.

И пошел я домой в душевном расстройстве. Дома сижу, о судьбе своей тихонечко мерекаю, а жена моя тихим зудом так и жжет, так и распространяется. Где был? Да скоро ли уймешься? Да людей бы постыдился. Дальше больше, дальше больше, намеки стала делать очень неприличные, — такая подлая.

Тут я не выдержал и сказал ей:

— Прощай, моя супружеская радость, скоро тебе, пиле беззубой, и грызть будет некого.

И сообщил ей о предсказании конца.

Вижу — прошибло ее, поплакала, конечно, и мне легче стало.

— Иди, говорит, Ванечка, спать, может все как-нибудь и обойдется.

Утречком выхожу, как всегда, из дому, что такое? Где дощечка от дверей? Была, знаете ли, вот такая обыкновенная медная дощечка, а на ней моя фамилия: Иван Иванович Стебельков. Туда-сюда, нет дощечки. По-вашему — ерунда? Теперь и я так полагаю, а тогда всю лестницу обшарил, найти все

надеялся. Нет и нет. Пропало мое обозначение. И вдруг захолонуло. Вот он конец-то приближается. И напала на меня тоска. Как домой возвращаться, идешь и будто в гости или совсем посторонний. Подойдешь к двери, а она пустая, словно скучает. И еще плешинка на ней от дощечки. Был тут Иван Иванович и весь вышел. Поверите, так и кажется, что и за дверью-то ничего нет, одна пустота да пыль. Будто кровати моей уже нет, а шлепанцам и спрятаться негде. Стоят еще, глупые, посреди пола, только ни к чему — отшлепали свое. Прямо места себе не находил, и к Катеньке тяготение ослабело. Даже супруга жалеть стала, только недолго.

Пришло к ней письмо и как раз при мне. Распечатала его, а в нем записочка моя о любви, которую я тогда у волосатика проклятого писал. Озверела она до полного ужаса. Большая домашняя неприятность вышла. И как-то быстрей, чем всегда. Прямо нельзя было опомниться. Раз, раз, раз, и уже за дверью, а возле шлепанец.

Подобрал его, сам кое-как оправился и надумал Катеньку спроведать. Куда ж больше?

Только здесь еще того лучше вышло: пришел, смотрю, — рыдает моя Катенька в подушки и в промежутках про меня говорит разное такое, лучше бы не слышать. Добиваюсь, — в чем дело, что случилось? А она мне как ткнет в нос медной дощечкой:

— Что ты, старый кот, с ума сошел, у меня на двери такую дрянь набиваешь? Какое ты имел право?

Теперь мне проходу ни от кого нет. Дворник в воротах лапает, управдом прописки твоей требует, а какая от тебя польза? Возьми ее, сбереги для кладбища. Так меня и отвергла.

Смотрю на дощечку, а на ней Иван Иванович Стебельков обозначен и еще такое прирезано, что даже не девице, а и мне читать не хотелось. Работа чистая!

Так, так, соображаю. Ловко пляшут негритянки! Ну, теперь держись Антропка, спасай свой революционный руль.

Выскочил я от Катеньки, даже дверь не захлопнул и вниз по лестнице. Бегу по улице, поверите, в одной руке шлепанец, в другой дощечка, а про себя все твержу: держись, Антропка, держись, Антропка! И оттого распаляюсь пуще да пуще.

Прохожие которые — смеются, а мне не до смеха, потому было в некотором роде замутнение мысли.

К дому его прибыл весь в мыле. Кажется, подвернись он тогда, были бы неожиданные внезапности. Только приключилась самая непредвиденная. Как добежал до его двери, так и встал в растерянности. Что ж бы вы думали? Блестит на двери дощечка и обозначает, что за дверью проживает Иван Иванович Стебельков, осведомитель по графологии, прием по вечерам ежедневно. И показалось мне, что как позвоню, так и выйдет ко мне сам Стебельков и скажет жалобно:

— За что ты хочешь бить меня, Стебелькова? На кого руку подымаешь?

А я поскользнусь на полу, упаду головой, и голова лопнет.

Помню, постоял я так порядочно, и как по лестнице стал сходить, все оступиться боялся. На одном подоконнике шлепанец оставил, на другом дощечку. До дому рукой подать, а тут растянулось все — конца краю не видно. И припомнилось мне, что за дверью у меня пусто, что за ней никого нет, и очень ободрился. Однако, не тут-то было. Уже с последней площадки вижу, блестит и как бы в глаза смеется. Отвернулся, поморгал и опять взглянул — блестит. И завитки у буквы „И" того же образца.

Понимаю!—думаю,—размножил Антропка до трех, а по злобе, может, сделал меня четвертым и вовсе излишним. Тут напало на меня полное безразличие.

Блести, думаю, блести на здоровье, плевать хочу, не страшно, даже смешно. И позвонил очень спокойно. Все же решил, ежели отворит сам Стебельков, убью как такового, так как очень по кровати истосковался. Однако, супруга открыла. Видать, хотела она опять по-семейному побеседовать, да взглянула на меня и воздержалась, и так в воздержании пребывала, пока я спать укладывался. Только и сказала:

— Что же это ты, Ванечка, шапку-то в кармане носишь?

А я молчком, молчком и в постель. Долго согреться не мог. Ночью бред был. Будто обмотал меня Антропка волосами, как паук паутиной, и душит, и

кровь мою сосет, и будто кричать запрещено, только жужжать можно, а я не умею.

Утром припомнилось, как говорил Антропка, что всякую личность он расстраивать может и размышлял о таинственном и пустоте жизни. Впрочем, вскоре все дело разъяснилось и очень даже просто.

Гулял я как-то здесь же в скверике, по Катеньке скучал, вдруг навстречу согласованная парочка. Села на скамеечку, курлы-мурлы, мурлы-курлы. Поглядел я раз, поглядел два, плюнул и пошел дальше. Только не выдержал, с полдороги вернулся к ним и говорю:

— Так ты, маг косматый, про этот конец распространялся? Ах ты, резчик по меди! А еще кабинет имеешь! Твое дело по городу мотаться да дощечки развешивать? Сказал бы просто: так, мол, и так, взалкал по Катеньке, я бы и отшатнулся. Пожалуйста, берите. Нашел тоже руль. Мало разве таких Катенек? Еще и получше, не редкость!

А он мне:

— Оставьте нас в покое.

А я ей:

— Катенька, ведь это он сам дощечки-то понарезàл, чтоб вы меня отвергли. Чуть-чуть что с ума человека не свел. Смотрите, и вам не сладко будет. Например, известно ли вам, что у него сейчас на внешности? Может, он развратный соблазнитель? Может, и партийный-то он в роде как мое обозначение на его двери: не что иное как хитрая предусмотрительность и отвод глаз.

А она мне:

— Оставьте нас, пожалуйста, в покое.

Тогда я им:

— Сейчас, мол, оставим, только, уважаемая оппозиция, дела ваши плохи. Хотели внести раскол в личность, хотели показать, будто Иван Иванович вовсе не Иван Иванович, а вот и сорвалось. Мы этот туман рассеяли. Мы в копченые стекла ваши больше не верим: глядите в них сами.

А он мне:

— Завтра от мастера счет получишь.

— За что?

— А за дощечки. И ухмыльнулся нахально.

— Кто? Я?

— Да, ты!

— Ах ты, говорю, — уж извините Катенька, — и сказал...

Тут как он подскочит ко мне, да как выстрелит из волос:

— Бери свои слова обратно!

Ух ты, мать честная, точно грозен!

— Беру, говорю, но ты их запомни!

Дальше спорить чего-то не захотелось, оттого повернулся и поспешил уйти.

Такая странная вообще история. Позвольте вам на прощание посоветовать: не ходите вы к графологам и к себе их не подпускайте, а пуще всего ничего им не пишите не думая — большие неприятности нажить можете.

Погодите-ка, постойте, что такое? Никак Катенька сюда приближаются. Так и есть, легки напомине. Господи, что делается, что делается-то? Катюша моя и под ручку с таким бардадымом. Вот и не зря сидел. Пусть-ка теперь пройдут мимо... В случае чего не откажитесь быть свидетелем. Обратите внимание, идут-то, идут-то как? Точно первым браком против воли родителей. Фу, неприличие какое! А впрочем — молодость. Я бы вот на его месте свернул, а он, мурло лохматое, так прямо и прет. Эх, Катенька, Катенька, значит теперь уж вовсе прощайте, Катенька! И знаете что, гражданин, если не возражаете, идемте. Раздумал. Ну их!

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Умер Семен Назарыч неожиданно для себя.

Днем в квартире по окнам лазал, занавески развешивал, но оступился как-то, упал и оборвавшейся занавеской сверху прикрылся. Не сразу и догадались, что под ней Семен Назарыч лежит.

Когда очнулся на постели, соображал заботливо: „Завтра обязательно занавески довешаю".

Однако, ночью скончался. Обо всем этом, только подробнее, от тетушки Ольги Парфеновны узнать можно было. Когда припоминала она, как Семен Назарыч занавеской прикрылся, вздыхала непременно: „Уж такой-то был тихий да скромный, по-скромному и преставился; и подумайте, как все поспешно вышло: вот и волосы еще на гребенке, а человека уж нет". Дочка же его, Маруся, убивалась и плакала сильно, не иначе как жалея себя.

Все так-то плачут.

Если же не по себе убиваться, то первая примета — глаза сухие и тоской блестят, а это куда для здоровья вреднее. В том и вся разница.

Хозяева, люди сердобольные, надумали поминки справлять — блины, кисель и прочее, по положению

а сверх того спиртное. Очень хорошо поминали, лучше не надо, а после полуночи на граммофоне пускали неровно: „На сопках Манчжурии“ и „Застольную песню“.

Тетушка сидела у них, а Маруся, как бы по нездоровью, уклонилась. Про то намек тонкий сделан был:

„Гребает нами Марья Семеновна, а мы по доброте: коли обнищали, — как же не помочь родителя-кормилица вспомнить. А нам нипочем — все равно гостей созывать время пришло“.

И сидела Маруся у себя в комнатке девичьей, отец из памяти не выходил: то одно, то другое припоминалось, вместе не свяжешь, а все дорого. Вот сидит он за столом в пиджачке подержанном, в руках календарный листик, и басит тихо, через очки заглядывая: „Послушай-ка, Маруся, чудачество вот одно ученое, будто есть только две радостные вещи: это звездное небо над нами и еще, как его, где это, ах да вот — и моральный закон внутри нас“. Мудрено больно, а хорошо, запомнить бы нужно. Только вот одной вещи-то почитай целый год у нас и нет — неба нет, вместо него муть заразная. А есть ли другая? Без первой едва ли — оттого и люди здесь опасные, без нутра... как вещи...

Было это недавно, и листик вот лежит, а на нем обед еще предложен: ботвинья, холодец и мороженое — это осенью-то! Очень все это грустно.

Утром тетушка с племянницей совещались, что на базар выносить: надумали брюки.

— Только как же это так, тетенька, не умею я, да и совестно брюки-то.

— Что делать, родная, — по беде, по беде. А ты как придешь на базар, встань в рядок, руку-то вот так протяни, может, кто и облюбует.

А Маруся-то, — видать, что в отца уродилась, — скромности да застенчивости хоть отбавляй, к тому же — девица. До сих пор не приходилось в людях толкаться — все папенька делал, а теперь вот итти нужно. Собралась и пошла. А базар поблизости и притом очень бойкий, расползается во все стороны, ходить мешает, пора бы и прикрыть.

А пуще всего осень — неряха такая непутевая, грязищу и на полу, и на потолке развела, людей стыдно; впрочем, им наплевать: схватят, что дома увидят, — и на барахолку: не купите ли?

И продираются в толпе туго, что карты в колоде старой — никак их не перетасуешь.

Было время — в сундуках, в уголках да на столиках жили-были навеки нерушимо разные вещи, нужные и ненужные, а потом надоело так-то жить, и надумали они хозяев менять.

На то и революция, чтобы шевелиться! Расставились, почитай, по всей улице на половиках, а то и прямо на земле. Берите нас, хозяева новые. — Коли поискать, много чего найти можно: Канта там, Молоховец или клизму дырявую и портрет умилительный в цветах подвенечных. Пожалуйте, на все вкусы.

— Что это вы, такая хорошенькая, и штаны продаете?

От неожиданности даже рука марусина с протянутыми вещами опустилась, а сама вся зарделась, едва слова для ответа нашла.

— А вы купите.

— Штаны как таковые не нужны. Вот шляпа, действительно, — роковая принадлежность головы. Покупаю, покупаю, а все — не к лицу. А лицо у меня, сами видите, — очень оригинальное и притом пробор.

Взглянула по женскому любопытству — точно: на лбу под коком шрам и еще усы мотыльком, а лицо угарное, араповое, интересное вообще лицо.

И стала припоминать вслух:

— Кажется, дома и шляпа есть, можно бы тоже продать.

— Непременно есть, сами, зернышко, виноваты, зачем с папиных низов распродаетесь. Я бы на вашу миловидность сверх шляпы накинул.

Постоял около, помолчал и опять:

— Так помер, говорите, родитель-то?

— Да.

— А вы не грустите. На базаре тоже нелегко. Но как я сочувствующий, позвольте познакомиться — Григорий Жук. А вы, зернышко, торговать не умеете. Хотите — помогу? Да не тревожьтесь — не убегу я с вашими штанами. За сколько пускать? За пять? Мало — семь. Ну, так учитесь, пока я жив.

— Ай штаны, вот штаны, покойные штаны. Каждая штанина три рубля и полтина, итого семь, доступно всем!

Сразу подошло несколько и стали на свет распяливать.

Хоть и стыдно стоять рядом, да надежда есть, что не догадаются, чей товар; но словно угадал Жук, подмигнул и громко так сказал:

— Если бы не это наследство, — нипочем бы с вами не познакомиться.

— А на что вам?

— Люблю неопытность и привлекательность. А ты, друг-товарищ, пальчищами-то не протирай — чай, не прачка, да и штаны не русские, не любят этого.

Однако, не уходит покупатель, топчется на месте — видать, клюнуло.

— Возьми пять.

— За эти-то, с горошком? — и уставился в упор глазами. — Да ты что? Блондин или так себе — идиот ненормальный?

Помолчал немного, а потом другим тоном:

— А коли уж по справедливости, — только вам, многоуважаемый, и носить их. Ведь оттого вот и папенька ихний кончился, что перещеголял. Как оденете, отбою от невест не будет, даже опротивят, как вобла. Так берете что ли?

— Пять.

— До пяти считаешь, а как дальше?

— Ну, шесть.

— Эх, так и быть, шесть и еще полтина — только уж для блондина, — бери, поздравляю, ликуй, товарищ Исаия! Рассчитывайся вот с ними, а я в сторонку — мое дело сделано.

Деньги Маруся получила, кивнула с благодарностью и через базар пошла, а Жук — за ней. Шумит базар, толкается. Берите нас, хозяева новые...

Помолчал немного и опять в разговор вяжется.

— Действительно, как поглядишь вокруг, — полный обмен веществ! Важное это дело, и делают его только торговцы да воры. А и доверчивые вы! Стреганул бы я с вашим товаром, вот и — пердю, как говорят французы.

— Ну к чему это, разве вы из таких?

— А что ж, думаете, обмишурить не могу? Плевое дело, могу и даже очень. И не пожалею, жалеть труднее, но и это могу. Я ведь и в школе учился. Как это по-русскому? Сказуемое служит названием того признака, отсутствие или присутствие которого замечается в подлежащем. Премудрость! С годами понимаешь. Вот вы, например, хоть и подлежащее, а сказуемого-то у вас и нет — девица при папеньке и все. А то вот еще спрашивает меня учитель — Кащеем мы его звали: „Отчего это, Жук, кавказский пленник черкешенку любить не мог?“—А я ему — оттого, мол, что ноги у него были связаны. Скоро меня и погнали, и стал я вещам помогать хозяев менять. Расстреливался неоднократно и красными, и белыми, оттого беспартийный,

Спешит домой Маруся — бог с ним, с таким человеком. Скорей бы до дому — благо близко.

Больше разговор не клеился.

У дома спросил только:

— Ну вот, сегодня штаны, а дальше?

— Что-нибудь еще, все так живут.

— Так, понимаю, ну, до приятного. Да вот еще, постойте. В заднем-то кармашке потайном бумажник обнаружился. Этакая неосведомленность! Я об нем позаботился, а мог и не отдать. — Получайте и простите, что такую сатир-мораль с вами развел. Люблю я это. — Сунул бумажник в руку и прочь пошел.

— Странный человек, а бумажника такого будто у папеньки и не было.

Когда в квартиру поднялась, — прежде всего бумажник раскрыла: оказалось в нем 30 рублей в золотом исчислении и удостоверение личности, а на фотографии во весь рост блондин — покупатель базарный — красуется.

Украл, значит, и из жалости подкинул, как бы на бедность. Что теперь делать? И, прежде всего, как была в пальто и платочке, села за стол и поплакала маленечко над удостоверением личности и деньгами в золотом исчислении.

Поплакала и пошла к тетушке.

Сидит Ольга Парфеновна, в платок байковый кутается и карты раскладывает.

Выслушала все и говорит с удовольствием:

— Ну вот, свет-то и не без добрых людей — с удачей, значит.

— А я, тетенька, вернуть хочу.

Руками замахала, даже платок с плеч слезать начал.

— Что ты, что ты, брось, что затеяла! Этакая неосторожность! Вон папенька-то из-за занавески погиб, оступился, только и всего. А ты что затеваешь? Как бы и тебе тоже не того. С деньгами да с вещами нужно ухо-то остро держать. Понесешь, а он, может, тоже мошенник: украл у кого или что еще, к ответу тебя притянут, а ты — девица. Нет, уж брось это.

Так и бросили.

В ту пору пришла зима — прачка усердная — отстирала грязь в небесах и стала синькой воздух и снега подцвечивать.

И постучал как-то в дверь Жук.

— Впустите, многоуважаемая.

Не хотелось впускать, да как же иначе? Еще обидится. Крючок скинула.

— Пожалуйста, входите.

— Здравствуйте, мироносица, здравствуйте, зашел по знакомству. Ну, как живется?

А глаза уже всю кухню обежали и назад воротились.

— Торговать-то еще есть чем? Вон платок какой хороший, байковый.

— Это тетенькин, ее сейчас дома нет.

— Тэ-экс. А что ж это вы на барахолку-то не ходите? С деньгами, что ль, обошлись?

— Да вот перебиваемся...

— Не иначе как через тот бумажник?

Как тут не смешаться — неприятность какая; едва прошептала:

— Нет, что ж бумажник...

— Как что ж? 30 рублей не деньги, что ли? Папенька-то, поди, с потолка смотрит, — не нарадуется. Мерси, мол, большое, Григорий, что дочку мою надоумил.

Почувствовала Маруся, что плакать придется, а слезы — уж тут как тут.

— Зачем вы так сделали?

— То-есть, что это так? Я-то здесь причем? Нет, уж меня оставьте! А то выходит, что я здесь, как Понтий Пилат, в символ веры попал. А и любопытно мне: жила при папеньке, все в аккурате, и вдруг переворот. Тут уж не то, тут уж, как говорят французы, — „ну верон ки — ки, же тю у тю же", посмотрим, кто кого: ты меня или я тебя, — одним словом, обмен веществ. Ведь вот не отнесли бумажник-то по удостоверению личности, не отнесли ведь?

Только головой качнула Маруся — нет, мол, не отнесли.

— Поди, тетенька не пустила? Ну так вот, пойду я сейчас в милицию: так и так, скажу, хватайте.

Подошел медленно к столу кухонному, а за ним Маруся сидит, рекой разливается, постоял около, а потом с раздумьем так:

— Люблю проверку делать, сатир-мораль разводить, такой ли, как все? Поверю и обрадуюсь — такой, мол, Гриша, такой, даже лучше, ведь вот не оставил себе, другим отдал — душа добрая. И сейчас, например, пограбить можно, а не хочу. А может, блондин-то нуждается — на четыре грани разбивается, пòтом и кровью гроши вышибает, а?

Помолчал опять и уже по-другому.

— Ну, полно, зернышко, ничего я такого никому не скажу, да и вернее, что украл блондин, как и мы с вами. Ну, полно, уйду я сейчас, только прошу вас: дайте пожевать чего-нибудь — подводит очень. Видать, не то приметили, не то удачи нет, — оттого и злой стал. Хлебца бы мне.

Поднялась Маруся, всхлипнула еще разок, отвернулась от Жука к стенке и в комнату заторопилась, хлеба принести.

Когда возвратилась — Жука не было.

Шел он по улице к базару и, когда дошел, вытащил из-под пальто платок байковый тетушки Ольги Парфеновны, встряхнул и сказал с убеждением:

— Обмен веществ!

Вечером смотрела Маруся сухими глазами в окно звездное — отца вспоминала.

ГРАЖДАНИН ВОДА

I

Когда опустился на страну 1917 год и хлестал гневом и кровью в мозг и глаза — крестились неученые, как в страшный, грозовой час:

— Пронеси, господи!

Но не пронес, так и осталось...

А река Мшага была все та же, углубленная небом, и так же с песней плелись венки для речных разгадок.

Поплывет — жить, утонет — умереть.

Венки и тонули и плыли, а люди мёрли своим чередом: старые от старости и неустройства, а молодые — оттого, что свинца накопилось много.

С нами вы, с нами навек, и речка, и смерть, и немудреная песня...

Мите Воронову далеко ходить на дежурство. Сначала от жилья своего, от белого дома, долго по городу. Пока идешь, примечаешь: сперва вздыбится город ввысь камнями, а потом медленно опускается в деревянные улицы, затихает, и землянками совсем сходит на-нет.

Отсюда до станции — конец жилью. Здесь только клеверный ветер да радостный разговор без слов для себя...

Смекалки, что ли, у инженеров не хватает — нет ведь того, чтобы дорогу честь-честью до города довести — бросят вот так за четыре версты, и изволь переть. И припомнилось из грамматики: мереть, тереть, переть, умереть пишется через „е".

Улицы на окраинах пухлые, горячие, крутят, крутят, то вверх, то вниз — сапог не напасешься. Эх, кабы не нужда, ходил бы в университет! А теперь вот начальник станции, он же по железнодорожному шифру ДС, очень строгий, хотя и жулик, буркнет:

— Товарищ Воронов, пиши объяснение по поводу своей индифферентной манкировки — этакое в тебе, — скажет, — проклятое наследие от царского режима, а еще сочувствующий...

Повидал ДС всякие власти, даже такие, которые сами никакой власти не признают, и всех пережил, и никто его не расстрелял — а жаль!

— Здравствуй, племя молодое!

На глухом деревянном заборе ватные руки, а на них голова, вся бритая и брови стрелкой. У такой головы туловище обязательно толстое, отвислое, а ноги короткие в клетчатых штанах — это уж верно, не стоит и через забор заглядывать.

У калитки круглая дощечка, а по белому кругу: „Акушерство и женские болезни. Прием секр. берем."

— Часы по тебе, Митя, проверяю и хвалю, служи, брат, честно новой России.

— Здравствуйте, Кузьма Иванович!

Подошел, ногу на заборную перекладину поставил, а рукой за зубец ухватился. Вот ведь неприятный человек, а всегда тянет поговорить с ним.

Толстые губы плескают словами и улыбаются.

— Денек-то, денек!

Обтер ватной рукой лоб и под носом пот пальцами отжал.

— Воистину род человеческий пребудет и убудет, земля же пребывает вовек...

Захотелось подразнить.

— А как же пророчество о конце мира?

Отмахнулся мягко.

— Ну это так, для устрашения.

— Ерунда все это, Кузьма Иванович!

— Ерунда? А вот ты, черномазый, гимназию кончил, мозгами, значит, шевелил, а ну-ка химию-то забыл, химию-то? Вещество изменяется, но не пропадает. Сперва это, — растопырились пальцы перед глазами, — незначительно и туманно, а потом, как вот на этой ладошке, пожалуйте, от мелочей до великого. Ведь конец-то, мира-то, ведь был он, в 1917 году был, и притом не первый раз. Интересная это штука, не всякому такое на роду приходится.

Подбирается что-то сердитое к митиному языку. Снял фуражку и козырьком в черных волосах почесал.

— А знаете, Кузьма Иванович, была у меня в детстве игра — мозаикой называлась, может, вы и

подарили. Сетка такая, в роде сотов пустых, и еще квадратики маленькие, разноцветные. Вкладываешь их в эти соты, и очень интересные рисунки можно делать, или слова какие хочешь. Вот и у вас, Кузьма Иванович, в мозгу все расставлено, — когда надо, возьмете и переставите.

Качает голова в такт словам, и лицо жирное, ласковое.

— Может быть, может быть. И рассказ твой тоже с рисунком, и молодость—слово цветное. А вот ты оглянись, вдохни в себя эту тишину, и умиротворишься, и воздух словами пакостить перестанешь... А мозаика, что ж, это верно и сказал не плохо. Я вот сейчас все свои красные квадратики использовал, а остальные отложил. Примечай, бунтарь молодой, отложил только и всего. Хочешь папироску?

— Нет, не надо, до свидания!

— Постой, постой, не спеши, опоздать успеешь. Когда же это ты сочувствующим-то стал? Эх ты, молодо — зелено. Скажу тебе как сыну покойного друга и товарища. Юноша ты с головой, дельный, а боюсь, что границ не знаешь. Сам я всегда со всеми, всем сочувствую и всяким успехам радуюсь, но в дружбу никому не навязываюсь. Дмитрий Дмитриевич, попомни, коли играешь в карты, считай, сколько взяток отдашь, а не возьмешь — так-то.

Примолк, а потом вдруг вскинул на Митю маленькие глаза, один зрячий, а другой плохой.

— А что это, Митечка, слыхать, будто в городе опять не спокойно, будто не справиться вам с казаками, а?

Действительно, город что-то знал. Был он теперь не прежним каменным, а чутким на все пять человеческих чувств, не усыпишь, не обманешь, если бы и захотел. А тут, хотя еще и не объявлено, но все знали, что предстоят внеочередные выдачи всем гражданам махорки, теплых штанов и пегого ситцу: не спроста такая щедрость. И не спроста распорядились власти выстроить на городской площади помост, чтобы играли на нем в течение всего дня наряженные для сего музыканты, а в перерывах выступали ораторы. Недаром также заседал губисполком, приглашая представителей дорог. Кое-кого и кое-что уже грузили в вагоны, и было все это, и без разговоров, больно митиному сердцу. А тут вопрос прямо в лоб, оттого ответил быстро:

— Не знаю, Кузьма Иванович, не знаю, да и итти мне пора.

И сейчас же пришло в голову.

— Только вот еще хочу спросить вас, что если бы вот дом у вас сожгли и все разграбили?

— Эка штука, испугал чем! Сгорит — зола будет, а от золы пастбищам удобрение. Скотинка-то на нем пасется и тучнеет, а те, кто ее ест, благоденствуют и так же жиреют. Нет, не так это страшно...

— Ну, а если дочь вашу изнасилуют?

Ответ назад мячиком прыгнул.

— Ну что ж, внуки будут, господь с ней. К тому же сам знаешь, акушер я старый, принимал и не раз и не два, как твои поезда — пожалуйте, новая жизнь, путь свободен. Дело пустое.

Мягко, по-родительски гладят облака и небо, и землю.

— И — эх, тьфу, и что вы за человек, Кузьма Иванович, и что вы за человек, удивляюсь я. Какой же вы гражданин? — Запинается сгоряча Митя: видно, трудно слова придумывать. — Так себе, что наша речка Мшага, купайся в ней, молись или любуйся на нее, пакости в нее, ей все нипочем, течет себе — и все тут.

— Так и нужно, светик, так и нужно, опять умно сказал: граждане, что вода—вливай, куда хочешь, только берега были бы крепкие, а по-моему, еще лучше крутые — иначе подмоет, разольется, и тогда беда — потоп. И я такой же, не скрываю, частичка воды.

— Ну, а если новая власть?

Спокойно рассуждают ватные руки.

— Пожалуйста, сейчас это пироги с капусткой, наливочки и благодарственные молебны.

— А за что же благодарить-то?

— А как же? А за переворот? Да и властям тем молебны желательны. Как же, как же, новое изменение вещества. Чем чаще, тем интересней. А главное: что ведь основа-то, которая меняется,—

махнула рука с убеждением, — все одна и та же,— и еще раз, совсем уверенно: — одна и та же. А вот насчет воды, это ты здорово, это, знаешь, просто хорошо. — И засмеялся тихо. — Ну-ка, ударь ее хоть бы чем тяжелым, не больно. Побегут, побегут по ней круги, и то поверху, и сотрутся, только и всего. Так-то, ну ладно, иди-ка служить, никак дождь собирается. Да заходи к нам, Глаша о тебе справлялась.

Хорошо перед службой итти через поле — оно отмывает все, что пристало от людей, даже от Кузьмы Ивановича.

Мереть, тереть, переть, умереть пишется через „е".

Встречных по счастью нет никого, только ветер, клеверный ветер, а с ним радостный разговор без слов, для себя.

II

Маки, маки, веселый бездымный костер, уже подобрался к окнам, вот, вот хлынет внутрь сторожки, сожжет.

— Эх, бабушка, на покой тебе пора, а ты в цветы рядишься!

Глуховата на ухо, дряхлая, наклонилась в одну сторону, прислушивается, тишину караулит. А та вокруг серой птицей бродит, пасется, в окошки заглядывает, глаза большие-пребольшие — незлобивые глаза.

Таня, девушка юная, маки выхаживает, сама как утренняя роса, светлая, ласковая, недолгая. Кашляет что-то недобрым кашлем, и оттого худоба.

— Дедушка, дедушка, маки-то у меня какие! Любимые.

И хрипит дед, как ржавый флюгерный петух под ветром, самодельный давнишний петух.

— Да уж что и говорить, цвет-то красивый, только проку в нем, вишь ты, мало, проку-то, говорю: лучше бы табак или капуста...

И улыбается пустыми деснами.

— Как погляжу я на тебя, а и счастливая ты, Танюша! Вот над цветами ты хозяйка, а над тобой кто? Как есть никого. Счастье это большое, без начальства-то...

У переезда белый столб — на нем в обе стороны отметки: 925 — 926. Это версты, а откуда и докуда — как хочешь, так и считай.

Днем цветет по-весеннему небо, а прохладные, строгие ночи плавят звезды над самой сторожкой.

А та слушает, караулит.

Вот-вот потечет по рельсам тревога, и насторожится серая птица.

Поезд! Поезд!..

И уж слышно далекое: „а-та-та, а-та-та". Страхом ширятся птичьи глаза. И уж распластала паутинные крылья, и уж мчится наугад и беззвучно обезумевшая серая птица. Куда попало, только дальше, туда за овраг, за речку...

Ненавистный город, зачем бросаешь в поля и леса эти страхи?

И безвольно откликаются просторы.

— Та-точ-ка, та-точ-ка...

— Слышишь, дедушка? Словно меня зовут.

У переезда мертвой тенью белый дед, фонарь в руке, взгляд пустой.

Пробегай, непонятная жизнь, путь свободен! Не впервой деду принимать от просторов такого младенца. А тот промелькнул, но еще издали тревожит последними вздохами.

Сухо шелестят губы: нето молитву творят, нето тишину зовут.

— Ворочайся, родная.

И еще тянет по низу маслом, паром и дымом, а уж крадется назад серая птица. Вот уставилась, не мигая, в окна и думает:

„Входить или нет? Нет, не войти — страшно: там вздыхает дед, покашливает Таня, потрескивает лампадный светлячок, и шуршат у тепла тараканьи ножки, дразнит их хлебный дух. Нет, не войти, ни за что не войти".

В синих стеклах звездная дрожь, никому другому, тебе, Таня, светят. Одни горят, другие чиркают по небу и тухнут и сыплются, сыплются прямо на постель. Неужели все осыпятся? Старая эта примета: для людей смертный знак.

— Слышишь, поезд издалека кличет:

— Та-точ-ка. Та-точ-ка.

А может это Митя?

Мелькают мимо желтые и синие, желтые и синие. Да вот же, конечно, Митя... бунтарь черненький...

в окошке... грудь нараспашку. Когда смеется, щурится любимыми лучами возле быстрых глаз.

— Митя, Митя, неужели к нам, ко мне?

— Да, да, я скоро ж-ж-ж-ж-ди!

И уже откликаются глубокие просторы:

— А-та-та, а-та-та.

Лезет в окошко праздничный маковый сон: спи, Таня, спи, дед сторожит и твои маки, и серую птицу...

— Ну, старая трупёрда, сукин сын, говори, белый ты или красный?

Что это? Сразу не поймешь. Но это уже не сон, да, не сон.

Сидит за столом мохнатый человек, весь в ремешках, а перед ним дед, и голос у деда трудный, словно устал.

— Так я и говорю: нам все едино—белые, красные или еще какие: мы сами по себе, а что путь портить — то не согласен и струмента не дам.

— Не дашь? Нет, дашь, мерзавец!

Не слыхивала отродясь Таня такого вязкого звука. И вдруг поняла, что это не в первый раз.

Скользнула с постели, прильнула, кричит, а может шепчет мохнатому:

— Нельзя так, нельзя!

А тот только водит по ней рысьим взглядом.

— С тобой после, одеваться не торопись. Эй, Михаленок, зови людей!

Ах немного, немного жизни в старом теле, и сейчас она выйдет вся. И на ухо хрипнул, как мог тихо:

— Конец идет, Танюшка, ну что ж...

— Так не дашь ключа, болты развинчивать?

Надсаживается мохнатый непонятными словами, точно икает, а от этого к ребрам прижалась жуть.

И медленно шевелится у деда, покрасневшая возле рта, иконная, тихая борода.

— Ничего я такого не знаю, и ключа у меня никакого нет.

— Нет? Ну выходи, недаром, стервец, цветов красных насадил.

Сколько мохнатых, жилистых рук, а у Тани всего две и те слабые, с синими жилками, а после выстрела там, за сторожкой, возле столба 925—926, ничего не изменишь, как ни борись, как ни кричи...

Ну-ну, входи сюда, входи серая птица, теперь не страшно. Видишь, висит на одной петле сторожкина дверь, проветривается сторожка от хлебного, человечьего духа. Мохнатые люди ушли...

III

Еще недавно было тихо, а сейчас били наотмашь снарядами, сперва для порядка, как полагается, по водокачкам, каланчам и церквам, а после просто так, в городское нутро. То место, куда попадал снаряд, разрушалось каждое по-своему. В таких случаях на бинокли большой спрос: очень уж смешно и занятно смотреть на все это.

Скоро наступавшие перешли мост и ворвались в город. Каждый, кто имел ружье, нажимал курок

и гнал из дула кусочки свинца. Свинец же, исполняя законы механики, стремился к предназначенной цели. Но это уже никого не интересовало. Оттого пули метались, как пчелы, потерявшие матку, и казалось, что уцелевших не будет.

Кузьма Иванович обедал как всегда на веранде.

— Ты, Глаша, — сказал он дочери, — напрасно крупеника не ешь, удался, хоть и остыл.

— Ах, папочка, не до крупеника тут.

Перед обедом Кузьма Иванович сидел в мягком, как сам он, кабинете, принимал дигиталис, курил и раскладывал пасьянс. Когда Глаша посоветовала отобедать в комнате, а не на веранде, и вообще пока что сойти в подвал, Кузьма Иванович заупрямился.

— По доброй воле в подвал не пойду.

Хоть и жутко, а коли любишь — не откажешь. В обычное время похлопала буфетными дверцами и накрыла на стол.

Стекла веранды разложились цветными квадратиками по столу и по салфетке Кузьмы Ивановича, заправленной углом за мягкий воротник. Под салфеткой плавно колыхался живот, набитый крупеником.

— Напрасно, напрасно, Глаша, неужели трескотни испугалась? Скажу тебе с точностью до единицы сегодняшние потери с обеих сторон: одного из воинов в ягодицу обидело, это уж непременно, затем монашка какая с перепугу двойней обсчиталась; ну

еще там петуха или собаку бесхозную, а больше не будет...

И спокойно, ватной рукой потянул из-под цветных квадратиков сбившуюся скатерть.

— Мозаика, как у меня в мозгу, — вспомнил он Митю.

Прибегал тот сегодня перевязывать раненую руку, а с ним девушка какая-то, видать, что не случайная, глядит синевой, а в ней камнем грусть выше слов.

— Слышишь, Глаша, уже затихает, красных пуль больше нет, одни только белые, а жаль: чем скорее самые рьяные перестреляются, тем спокойнее будет.

Закурил папироску и усмехнулся.

— Митяйка-то сегодня с какой-то девушкой ворвался, ранен, а весь горит: „Кузьма Иванович,— кричит, — Кузьма Иванович, казаки переходят мост!“, а тут как саданули из пушки, мне даже в живот отдало. Ну что ж, говорю, прекрасно, — на то и мост, чтобы через него переходить. Сегодня они, а завтра вы, а там опять они — только смотрите, на самом мосту козликами не столкнитесь, а то завалитесь в воду, она церемониться не будет, всех потопит. И останемся мы без властей, то-то поплачем. „Не шутите, — говорит, — не время, бегите, Кузьма Иванович, вы их не знаете, смотрите и вам не поздоровится. Представляешь, Глаша, как бы это я с чемоданом да бегом в своих клетчатых?

Ну, хотел деньжат им дать на дорожку, да Митя отказался. „Ждите, говорит, мы назад скоро“,— попрощались и побежали.

Пыхнул папироской последний раз, крепко придавил огонь к пепельнице, отпустил руку и закурил новую.

— Кива, ты много куришь, Кива (сокращенное „Кузьма Иванович“).

Отмахнулся:

— Ну что там. Да вот, забыл еще, рассказывал он мне про архитектора Дымогарова Ивана Семеновича. Увидел тот в окошко, отряд едет в погонах, выскочил и кричит: „Братья, ведите меня в штаб!“, а отряд-то красный, переодетый, его и отвели... на тот свет.— „Вот вы бы, Кузьма Иванович, так не сделали“. „Не сделал бы, говорю, не сделал, я без цвета, я — вода“.

Внимательно слушают глашины губы. Такие же как у отца, но только молодые, любящие губы,—про Митю ведь рассказ. Но спрятала себя за бесцветными глазами, и никто не догадается ни о чем, даже Митя, недаром Глаша характером в отца.

И не знал простой рядовой, что кусочек свинца, выпущенный им сейчас, исполняя законы механики, пронижет сад и цветное стекло и достигнет своего предопределенного места, и от того будет боль, крик и жесткая мысль о смерти.

Кузьма Иванович рванулся к дочери. Потянутая скатерть сбросила на пол столовый нож.

Глянул привычным глазом и смятенно подумал: „Хлопотать не нужно“.

И следил только за ее губами, такими же, как у него, только молодыми, но уже умирающими.

— Митю... хоть на похороны...

Еще сложились для какого-то слова для него, но не разжались.

Кузьма Иванович опустился на пол, подержал глашину руку, послушал сердце, затем грузно поднял и понес дочь на кушетку. Постоял около, вглядываясь в новое лицо, оправил платье и отошел к столу. Нога натолкнулась на зазвеневший ножик, и он поднял его.

Мелькнуло в голове:

„Зачем нож? Ведь крупеник ели?“

Обошел стол и стал смотреть через цветные окна. Сад делался и синим, и красным, и желтым, и только в простреленном стекле был настоящим вечереющим садом.

„Еще такую же“ — просило для себя громоздкое тело. И долго стояло и ждало, сливаясь с темнотой, но выстрелы отдалялись, затихали и скоро прекратились совсем...

IV

Заскучать можно! Степь и солнце, солнце и степь. Кроме них больше не было и нет ничего. Степь сдобрила воздух травами, а солнце раскалило его и скоро убьет травяной дух и обратит в камень серую, скучную, степную землю.

Тогда будут шевелиться на ней только перекати-поле да изредка, неуверенные в себе поезда.

И те, и другие, праздношатающиеся, никчемные. Особенно перекати-поле. Полежит, полежит и вдруг сорвется с места, побежит, столкнется с другими и остановится; а само, как недобрая дума — круглое, сухое, колючее...

Поезд, слепой бандурист без поводыря, нето ползет, нето стоит. Издалека и не разберешь. На ходу можно выпрыгнуть из вагона, набрать цветов или что другое сделать и опять обратно вскарабкаться. На всех вагонах надписи: „40 человек, 8 лошадей"; последних нет, поубавилось за это время, людей же хоть отбавляй: не сеют, не жнут, сами родятся. Повсюду они: на крышах, между вагонов, в вагонах. И потом еще вши. Одним словом — живность, груз невыгодный и малоценный. Люди, которые на буферах, для крепости веревками себя к ним привязывают. Но это нужно делать умеючи. Бабам, например, никогда не выучиться. Разговор все о том же, других разговоров не было и нет — соль на мед, мед на мануфактуру, мануфактуру на муку, муку на соль, и начинай сначала. Шуршат капиталы, оборот серьезный, а потому расстоянием не стесняйся. Скупеляция и товарообман.

Однако, даже привычному ездоку как-то неуютно на крыше. Ноги затекают, а тело плавит солнце.

Зато все же высокое положение, окрестности и знакомство с железнодорожными сигналами. Крас-

ный огонь — опасность, отрывистые короткие свистки паровоза — тоже. Удирать же с крыши куда сподручней. Даже если батько Махно случайно, мимоходом, от нечего делать остановит поезд и вытряхнет на землю всю живность. Нельзя ли чем поживиться? Кое-кого поставит налево — уничтожит, остальные — садись и езжай дальше. А сам погрузится на тачанки, запылит и растает в степи, как сахар в стакане чая.

— Геть, кацапи с Украины!

— А ты, бабочка, зачем едешь?

Стоит посреди вагона в одних портах, загоревший такой, как земля, а глаза немые, как степь, но с усмешкой. Говорит, как свисток паровозный при тревоге, отрывисто и коротко:

— Добра у тебя много? В обмен везешь? Все ценное? Семья большая? Или спекулянтша?

Из угла протяжная, хитрая в простоте северная речь.

— И что ты, милостивец, и откуда у нас добра-то много? Больно ты зорок по чужим мешкам да карманам считать. Везу сколько надо. Мануфактуру там да деньжат разныих на все скусы. Детишек-то нарожала, мужа-от на войне убили, вот я и маюсь...

— Поверь, бабочка — много везешь. Отберут махновцы. Добро бы на крыше или буферах, а то в вагоне: здесь контроль у них строже.

Уверенно говорит загорелый, бывалый, недаром в одних портах, и жарко не так и вши грызут меньше.

Степь и солнце, солнце и степь—заскучать можно. И вши от тоски плодятся.

Но все же, если подсчитать, смертей на крышах наверно больше, чем в вагонах, непременно больше. Заскучает человек, встанет во весь рост и не рассчитает: как на грех прямо лбом или затылком об какой-нибудь нависший над поездом предмет, мост, например. Мягко ударится своей болдянкой, повернется к остальной братве и в глазах будто удивленье. Только мертвый уже сам-то. И тотчас же вместе со своим мешком и смоется с вагона под колеса. Не всегда и разберешь, где мешок, где человек, иногда очень смешно и любопытно выходит. Под габарит, значит, не подошел.

А в вагоне выдышали весь воздух, и осталась густая вонь.

Распластался на полу человек с подвязанной рукой, а над ним девушка пыльная, сама кашлем рвется, а того не замечает.

— Митя, тебе очень плохо?

Молчит. Еще недавно держал руку, говорил непонятное.

— Таня, пить! Таня, как страшно, вода подступает, горячая вода, она несет по верху только легкое, я захлебнулся уже раз, мне не выбиться, скорей бы доехать, скорей бы!

Катится ли вагон или стоит на месте?

Конечно, стоит и никогда никуда не двигался, потому что он без колес, потому что он дом, боль-

шой дом, белый дом, и в нем квартира. Нужно вбежать, схватить наган и стрелять, стрелять, но какая усталость, как тяжело переставляются по ступенькам ноги...

— Таня, пить!

Скорей бы доехать, скорей бы! Проклятый поезд!

К вечеру, когда сжалится солнце и поостынут крыши, поет человеческая живность: „Ревет и стонет Днепр широкий".

А то и по-другому:

Я на бочке сижу,
А под бочкой качка,
Мой миленок гайдамак,
А я гайдамачка.
Ах яблочко покатилося,
А советская власть воротилася.

А загоревший, в одних портах, подхватывает:

Ах, яблочко,
Половиночка,
А наш батька Махно,
Как картиночка.

— А что вы думаете, братишки, — охотно говорит для всех желающих веселый, раскосый курский малый — один глаз на нас, другой в Арзамас. Намедни, на остановке, пошел я, значит, на базар, так там баяли, что батьку-то, вода, значит спасает. Вчера на базаре его, значит, опознали, а он бежать. Бежит, а навстречу, значит, ему девка воду в вед-

рах несет. Он это, значит, в ведро-то, в воду-то заглянул, братишки, заглянул, значит и был таков.

Беспокойно что-то бабе.

— А что, не знаешь, часто ли он поезда-то перетряхивает?

— В этих местах часто, особливо к вечеру. А ты что? Выходить, что ли, собираешься? Помочь тебе, мамаша? А знаешь, вот за это тебе много всего дадут.

Из большого узла дразнится угол красного стеганого одеяла.

А поезд-то и впрямь остановился. Айда, братва, узнавать, что за причина такая?

Стоит паровоз, дышит, как загнанная кляча.

На подножке паровоза сидит машинист, курит трубку и ждет.

— Воды в стекле почитай-что совсем нет, — умаленье, вот и встал у речки, ратуйте, православные товарищи!

И становятся в ряд от реки до паровоза:

— Даешь воду!?

И бегают по рукам ведерки с водой и без воды, поят ненасытный, старый котел.

Постояли, сколько нужно, и еще порядочно, и тронулись.

И каждый устраивался на своих местах на ночь, со своими думами, — нельзя человеку совсем не думать!

И не разберешь, не то спят, не то притворяются. В походе так бывает: идут и спят. Скребутся всей пятерней, вот-вот заговорят, а заговорят — на бред

похоже. Довезть, обменять соль на мед, мед на мануфактуру, мануфактуру на муку, накормить спекульнуть.

И только у одной, только у одной бессонная мысль: умрет, не доедет, умрет...

Поезд задумчиво течет в ночи, как струйка дегтя по забору.

Скорей, скорей бы доехать!

А вагон стоит на месте, не двигаясь, и никогда никуда не двигался, потому что он дом, большой дом, белый дом. И нужно бежать вверх, так как снизу подступает горячая вода...

Зачем же двоится каждая ступенька и почти все на том же, на том же месте, тратятся последние силы? А вода медленно тянется кверху, она выпустила мягкие руки и шарит ими по углам и карнизам и плескает толстыми губами.

Ах, здравствуйте, Кузьма Иванович!

Вдруг просветлели стены, и осталась синяя жгучая степь сверху и серая раскаленная снизу, и так хочется пить, пить, пить...

Давно стоит и свистит поезд — семафор закрыт и потому нельзя въехать на станцию.

Чорт с ним, пускай стоит, под утро дышится легче. Когда надо, откроют и впустят.

Однако не впускают, с тем и проснулись.

Сходить, узнать — лень.

Но надоело стоять.

— Даешь станцию?

И поехали без спроса.

Тихая станция, точно глухонемая, нет никого. Едва нашелся кто-то запуганный, дрожит, оглядывается.

— Под самое это утро, как жене родить пристало, приехали верхами, кричат, стреляют. Убили Исидора Мельчука и Гаврилу Куценко, они в охране были, очень стонали, потом затихли; потом дежурного, который с усиками, за что-то били, лежит в конторе, может, еще живой. Телеграфные аппараты разбили, пограбили и уехали, а жена родит...— И заплакал вдруг. „Помогите, товарищи!“

Стоят — слушают.

И так же стоят и слушают возле вагона веселого курского малого.

— Видать, перевернуло, значит, это бабу-то на ходу, известное дело, к буферам привязываться с умом нужно. Вот ее, значит, как перевернуло головой вниз, да по шпалам, да по шпалам, так, значит, головку-то ейную всю и сточило.

Бабья туша висит на вагоне. И совсем ни к чему мечется усталый голос:

— Дайте воды, дайте воды, человек умирает!

На труп смотреть интересно, даже не поймешь почему.

И не видят, как вдалеке облачком играет степь, катят, пылят махновские тачанки к югу, к морю, кому-то помогать, с кем-то драться, а с кем еще не решено, еще не объявлено.

На последней тачанке загорелый, в портах, человек деловито устраивает большой узел, из которого дразнится красное стеганое одеяло. И в глазах у человека немая степь, только с усмешкой. Запевает:

Пароход идет прямо к пристани,
Будем рыбу кормить коммунистами.

А с других тачанок отвечают:

Пароход идет, гремит кольцами,
Будем рыбу кормить добровольцами.

Катятся перекати-поле, недобрые думы: сухие, круглые, колючие.

И ползет поезд, слепой бандурист без поводыря не знает, где завернет, где остановится. Степь и солнце, солнце и степь. Заскучать можно!

V

Сегодня особенно сильно тянуло в щели медленным медным духом тления.

Глаша уже шестой день лежала в своей комнате.

— Дождусь Мити, как хотела покойница, — решил Кузьма Иванович и никому не сказал о смерти дочери.

В глашиной комнате закрыл ставни, перенес туда труп и стал ждать.

Погода стояла теплая, и со вчерашнего дня пришлось прекратить обычный пасьянс в кабинете рядом.

Человек тухнет скоро, особенно если умрет внезапно.

Все эти дни с утра и до ночи Кузьма Иванович стоял у забора и наблюдал.

В город входили отряды со значками, а с них скалились волчьи морды. На углах играли лезгинку, плясали, вешали на площади и служили благодарственные молебны в полуразрушенных церквах. Пили и грабили, как умели.

— Ненадолго, дождусь,—сказал себе Кузьма Иванович и стал собираться на станцию. Там сегодня также служили молебен, о чем лично оповестил его начальник станции, по железнодорожному шифру ДС. Были у него темные очки—глаз не разглядишь, и еще черные тяжелые усы. Ставил он их прямо, но свешивались они книзу и прикрывали для хозяйской пользы жуликоватый рот. Когда говорил, насаживал лишние слова, иначе не мог.

— Говорю вам как нашему многоуважаемому бывшему железнодорожному доктору по женским вопросам—нужно быть, нельзя.

Кузьма Иванович взглянул на него, словно читал интересную книгу, и вдруг перебили и ответил с расстановкой.

— Ладно... буду... приду...

— Ну, а как, Кузьма Иванович, довольны ли вы наступающим объединением великой неделимой России?

Терпеливо ждал ответа, а пришел вопрос:

— А скоро, по-вашему, они уйдут?

Сообразил, что попал не в точку, и изменил курс.

Теперь, мол, угожу. Оглянулся на улицу и пустил шепотком из-под усов.

— Сегодня ночью в городе была паническая тревога. Говорят, красные безнаказанно подошли за семь верст, воспользовавшись нетрезвенным состоянием наших охранителей. Ночью раненых вывозили из города, а сегодня под утро собственноручно отправил с поездом балетных женщин. По практическому опыту знаю, что для белых это крупная неуверенность. А потом вот еще, желаете газетку прочесть, ее власти отбирают, а между прочим интересные информационные рассуждения. Прочтите, а мне пора.

Сунул газету, еще раз оглянулся и пошел прочь.

Кузьма Иванович не сразу бросил читать невидимую книгу и безразлично глядел вслед уходившему начальнику станции.

Затем вспомнил о газете, развернул и стал водить зрячим глазом по строкам:

„Интервью, которыми пестрят газеты, дышат малооправдываемым оптимизмом, похожим на простое закрытие глаз. Наш долг предостеречь „закрытые глаза“ и громко указать на грядущие опасности. Если мы не хотим нашего полного разгрома, мы должны срочно принять меры всеобщей мобилизации и немедленно изменить приемы борьбы.

Но „на Шипке все спокойно“ — уверяют нас в интервью. Страусы, страусы, вы зарываете головы в песок“.

В другой статье говорилось:

„Надо раз и навсегда сказать тылу, что захочу— полюблю, не гражданская песенка, а проституированная шансонетка. Государство должно питаться не добровольными одолжениями граждан, а принудительной повинностью,— это бесспорно и этот порядок вещей пора принять, тем более, что идея русского добровольного служения отчизне потерпела полный крах...“

Кузьма Иванович сложил газету и еще раз решил:

„Ненадолго, дождусь“.

Было это утром, а сейчас пора уже собираться на станцию.

Взял тросточку, мягкую шляпу и пошел.

Недалеко от дома, поперек мостков лежал убитый, в солдатской шинели, без сапог и фуражки.

„Вероятно, тогда же, когда и Глашу“,— подумал Кузьма Иванович, обходя труп. Показалось, что воздух вокруг набухает тем же знакомым медленным, медным духом тления.

В домах оконные стекла были заклеены изнутри бумажными полосами. Дошли своим умом, чтоб сохранить стекло при пушечных выстрелах.

Шел медленно в своих клетчатых штанах, обмахиваясь мягкой шляпой, и читал все ту же толстую,

несуществующую книгу. Задержался возле телеграфного столба, чтобы прочесть:

„Социалисты обещали рай земной, а на самом деле...“

Дальше было сорвано, а под этим другое:

„Гадаю на воде с показанием личностей.

По линиям рук, на бобах, шарах и картах“.

Припомнилась старушка, мать коменданта станции, зарабатывала много продуктов и за то сулила бабам любовь.

Возле станции к ограде была привязана белая корова с розовой мордой и сухим выменем. Через несколько часов ее должны сварить и съесть, и, судя по ее понуренному виду, она это знала.

Кузьма Иванович пришел, когда молебен уже начался. Задержался при входе и все время держал шляпу в правой руке.

Впереди начальник станции молился в меру. Сегодня ему удалось под шумок сформировать поезд из нескольких вагонов и отправить на ближайшие соседние станции. Сопровождал его лично и собирал по пути в размерах, по своему усмотрению, плату за проезд. Была общая взаимная польза, и пассажиры очень благодарили за сочувствие. Молились о победе над врагом, и казалось, что сверху, сквозь ладан и молитвы, смотрит хитро сощуренным глазом вдумчивый враг. И уже холодно все взвесил и оценил и спокойно узнал, что победа на его стороне. По окончании молебна,

подошел звенящий военный, обычного образца, и сказал с покровительственной улыбкой от имени первого лица множественного числа.

— А мы хотим вас, так сказать, мобилизовать.

— А у вас есть женские части?—поинтересовался Кузьма Иванович.

Военный стал сразу сухим и красным.

— Я осведомлен о вашей специальности, но все же и помимо ее вы можете быть полезны.

Перед глазами мелькнул зараженный тлением кабинет, а рядом комната и в ней Глаша, дочь любимая. Качнул головой мягко и безвозвратно и сказал:

— Не хочу.

— Ах, вот как! Но нежелание излечивается в корне, так сказать, надлежащими мерами.

И добавил.

— Все же я не думал, что вы, так сказать, заодно с большевиками.

— Нет, я не с ними.

— Так с кем же вы?—приподнялись удивленно погоны.

— Я с будущим, я встречаю новую жизнь.

И хотя остался стоять, как стоял, но не видел и не слышал, как раздувшийся военный говорил ему:

— Ах, вот как? Ну ясно, теперь все ясно, об этом поговорите, так сказать, в контр-разведке и, вероятно, не позже завтрашнего дня.

И круто отошел от Кузьмы Ивановича.

— А в городе-то паника,—громко сказал кто-то около.

Кузьма Иванович постоял еще и пошел домой.

Вместе с людской тревогой смелел и наростал орудийный гул.

Там, где стояла корова, была красная лужа, припомнилась почему-то Глаша и как он говорил Мите, что вещество изменяется, но не пропадает.

И понял вдруг, что хочет видеть Митю, не потому, что нужно хоронить Глашу, а что дорог он ему, проверяющему себя и людскую правду, нужен, как слово одинокому сердцу.

Убитый продолжал лежать на том же месте, но был уже без шинели и в одном нижнем белье.

Город суетился...

У самого дома, навстречу Кузьме Ивановичу, настегивая лошадей, прогрохотал обоз.

Кузьма Иванович вошел за калитку и встал на обычном месте у забора.

Мучила одышка. Будто просверлилась в спине или груди неисправимая дырка, и оттого никак не вздохнешь полной грудью: утекает нужный для человека воздух, сколько его ни вбирай.

Прошел час, другой, третий... Темнело... Кузьма Иванович смотрел.

Мимо по улице, спотыкаясь в мягких колеях, шла нервная толпа.

Старые, волочащие ноги, священники, женщины в самых дорогих своих одеждах и шубах. Тащили

детей и плакали, и кляли жизнь. Они уносили с собой наибольший минимум своих богатств. Им предстояла многоверстная, дождливая и безвозвратная дорога...

К забору прибился ДС.

— Кузьма Иванович, вы уже собрались, идете? Имейте в виду, по дороге уже нельзя, перехватили.

И шепнул, оглянувшись:

— Я-то недалеко, для видимости.

Ватные руки разошлись в разные стороны.

Бежать, но куда же?
На время не стоит труда,
А вечно бежать невозможно.

И казалось, что смотрит он опять в простреленное стекло, но видит и плохим, и зрячим глазом одинаково хорошо.

Расталкивая толпу, проскакали бурки, окружая маленькую каретку-возок...

По вечернему небу расползалось зарево и дышало кровью в белые облачные платки...

— Кузьма Иванович, а Кузьма Иванович, вы не боитесь красных?

Уходят слова, как в подушку, и вязнут там, и глохнут.

— Нет, я—гражданин-вода.

И почувствовал, что цепляется за это, как задыхающийся за кислород.

И стоял еще долго, пока не прошли все: старые, паралличные, пугливые, и шел за ними со своими

думами, испытуя и спрашивая, но не понял их и отстал, и вернулся к забору читать свою невидимую книгу.

Из дома слегка тянуло к забору медленным, медным духом тления.

Через мост топали копытами и вступали в притаившийся город передовые отряды Буденого...

А река Мшага, через которую перекинулся мост, была все та же, углубленная небом, и так же с песнями плелись венки для речных разгадок...

С нами вы, с нами навек, и речка, и смерть, и немудреная песня...

ЧЕТВЕРТОЕ

Да, если, курить не затягиваясь — много зря табаку и воздуха перепортить можно...

Сказалось вслух, а слушать-то и некому: Кронид Семенович в комнате сам один. Правда, бродит еще по ней дым—слепец ненужный,—на все натыкается, ну, так не без того, что и глухой он—этакому все неинтересно. А что касается примуса—так тот, слов нет—деляга, общественный деятель, но такому у одинокого и дела-то всего что молчать, а слушать он не любит.

А больше кого же еще посчитаешь? Вот разве шифоньер—хозяйственник угрюмый, только он совсем Кронидом Семеновичем не интересуется—беречь для него нечего. Откроешь ящики—поколениями пахнет. Всех покойничков припомнишь. И бабушку Дарью Петровну с камфорой да нафталином, и Липочку сестру, скупущую деву старую. От нее в том ящике наколка бисерная и флакон пустой одеколоновый век коротают. А ниже кисет и в щелках махорка—нипочем ее оттуда не выковыряешь—это уж братца—дрянной был человек, царство ему небесное. Чуть чуть с голода шифоньер не продал. Не допустил господь.

Есть еще зеркало—существо угодливое, беспамятное, всякое видело и все забыло. Забудет непременно и Кронида Семеновича. И как он по утрам оборочки на голове расчесывает, и что нос у него такой, будто кто пальцами с боков крепко сжал, подержал, сколько нужно, и когда отпустил—так и осталось, вышел обиженный нос. А от носа книзу усы пегие свесились—разговаривать с таким не стоит—скучный человек.

Так уж положено: вечерком обязательно сидит Кронид Семенович за столом неопределенной профессии, курит и думает. И нет-нет, да и сорвется какое слово, только это уже, конечно, для себя, чтобы в голове не пропало. Скажет и прислушается.

И есть у Кронида Семеновича слабость: любит он думать о разных хитрых вещах. Вот и сейчас вспомнилось, сказал как-то знакомый: не думай, говорит, Кронид Семенович, что всякую вещь измерить можно. К примеру возьмешь, как полагается, аршин, прикинешь, да и запишешь, длину там, ширину или вот высоту. Выходит, по-нашему, и дело с концом. А ничего подобного. Это, говорит, просто, это и дурак сумеет. А вот для ученых есть еще такое, зовется четвертое измерение—вот то действительно! Если измеришь—большие деньги заработать можно. Факт. Раздразнил даже. Потом не то Иван Петрович Кудренков, фельдшер мозговитый объяснял, не то сам в газете вычитал, будто в дыме это самое есть.

А как его схватить и проникнуть? Ведь вот— Кронид Семенович привстал за столом—дым-то весь петлями, и петля в петлю лезет и крутится, и, поди, каждая дыминка крутится. А, может, дело и не в том, что крутится?

И садясь сказал вслух:

— Ерунда это четвертое—нет его, а впрочем— игра ума.

Придвинул к себе книгу толстую—на первой странице чернилами выведено:

„Настольная книга обо всем, для отдыха".

Раскрылась книга как раз, где в заголовке стоит: „Из своего опыта". И хоть помнится, что там записано, а захотелось перечесть. Вот и прочел.

„Если прищемишь в дверях палец, сперва непременно ходить нужно. Все же скоро затоскует вся рука, и тогда все равно. Потом отпустит. И сделается ноготь угрюмым, и начнет съезжать, и ничем его не удержишь. Советуют воском залеплять иначе новый вырастет корявым".

Ниже приписка:

„Если приспеет время с женой расходиться— лучше сразу, только никто так не делает, и долго жизнь друг другу травят, а на самом деле пустяк".

И хоть давно было, а как сейчас припомнилось. Пригрел тут одну, для здоровья, когда деньги были. Сперва Кроней звала, хозяйство затеяла, сына родила, а потом через год ушла вдруг, сказал на прощанье: „Не настоящий вы человек, Кронид Семе-

нович, пишете, все чего-то думаете, словно аптекарь, а на молодость у вас внимания нет. Ударили бы хоть, что ли, или выругали, а то глядите, как в пустое место. Заскучала я у вас очень, позвольте уйти".

Он ей тогда очень благородно сказал:

„Бери с собой и размножение свое, козу там да сынка своего, что мне с ними делать? Полагаю. что сын твой и Кронидовичем-то стал для упрощения формальностей".

Собралась и ушла. Вот души бабьи! Что кукушкины брови, поди-ка, разыщи их!

И стало тихо, и завелся другой порядок, как у всех одиноких. Со стороны слыхать было, что бедовала сперва, поденной прачкой даже ходила, а потом устроилась за трактирщиком одним. Этакая-то хазина, а ведь вот, поди ж ты, везет! Какие все партии завинчивает. Словно учуяла, что революция скоро, и придется Крониду Семеновичу самому у племянника-коммуниста пригреваться. Нашелся такой благодетель. А уж если на чистоту, то истинно—яблочко от яблони! И то сказать, мог ли у братца-то иной сынок народиться? Дрянной был человек, царство ему небесное!

С раздумьем перевертываются назад страницы, пока не задержались глаза на семейном событии.

„Сейчас показали мне того, кто увидит меня лежащего ноздрями кверху, ибо какой же сын, если он не прохвост, не приедет хоронить отца.

У меня же сегодня в 9 ч. 35 мин. по полуночи родился сын".

И с новой строки:

„Детская присыпка, или по-научному ликоподий, слышал, что употребляется для театральных молний. Попробовал—действительно если сыпать на огонь, страшно вспыхивает".

Захлопнул книгу и по комнате заходил. Нужно же было открыть на этом месте! Сын. И ведь как это пришло? Сегодня шел по вокзалу, а там клетки по платформе понаставлены, и в них поросята кишмя-кишат, на солнце мучаются. Подошел из любопытства, посмотрел, тронул одного за ушко, а ушко такое детское, мягкое да теплое, и вдруг сын вспомнился, и так захотелось узнать про него.

Тут перебили голоса за стеной. Вернулся тотчас к стенке и прислушался. Приятно так чужой голос послушать.

Сказал кто-то:

— Нет, вы только подумайте, какой размах—каждая кухарка должна уметь управлять государством!—Сказал и словно отошел от стены. Больше не слышно.

Беззвучно смеются губы, и дрожат пегие усы.

Кухари, кухари, тьфу вас—всех бы вас на кухню помелом да скалкой! Кто поймет вас, мудрецы гороховые?

Постоял, покачивая головой, потом присел к столу, открыл книгу и записал:

„Если смотреть в дым, четвертого измерения не поймешь и не увидишь. Я по крайней мере не видел. Если бы не революция, никогда бы четвертого не было. А теперь есть. Только это не для меня".

Посидел с мокрым пером и приписал еще:

„Революцию сделали, а поросят перевозят все так же некультурно и на солнце сушат".

И вдруг окончательно решил:

— Пойду и узнаю насчет сына, что и как — это просто сделать. В трактире все справки получу.

Пальтишко драповое на свинячьем визге надел, комнату на два оборота запер, ключик в карман и зашаркал к выходу.

— Эй, дядя, куда?

Стоит племянник, в глазах смешок:

— Смотри, не по годам по вечерам освежаться!

Коли встретились, ничего не поделаешь — по-родственному нужно.

— По делам тут, Сашечка, по делам. Думаешь, у тебя одного делишки? Иной раз и у нас, старых, неотложность. — И сейчас же с хитрецой насмешливой: — Ну, а как там у вас в коммуне-то, все слава богу?

— Ничего, спасибо. Тебя, старый режим, под ноготь возьмут скоро. Почему холост? Налоги платить будешь!

— Налог? Ах, шутники, шутники! А ты сумей, сосватай дяде-то настоящую. Вот теперь, говорят, девиц-то рожать запрещено. Непременно чтобы

как есть сразу женщина. А мне девица нужна, я по старинке. Вот и расстарайся. Только найдешь ли хоть одну такую-то?

— Ах, дядя, дядя, брось ты старинку, давай жить по-новому!

— Да я живу, живу, как в раю безлиственном. Только упущенье в раю-то, упущенье, говорю. На уборных-то вывески не по закону—для дам. Вишь ты—высший свет! Это даже мне обидно. Прикажи сменить, чтобы „для женщин".

— Ну, ладно, ступай там по своим делам. Только сказал я раз, как тебя звать надо. Так оно в самый раз и будет.

— А как, Сашечка, как?

— Забыл разве? Повторю, а ты запомни—щучьи мощи!

— Ах, шутник, шутник! Ну прощай. Так налог, говоришь? Дело, дело, мерьте вашим четвертым. А я, Сашечка, назад скоро.

И уж на лестнице:

— Чтоб тебя громом по маковке, щенок скуластый! Вишь что выдумал—щучьи мощи! На-ко-сь, приложись!

Любит суета людей, особливо на улице, да к вечеру. Чуть кто выйдет из дому, так сейчас пятки щекотать и в уши нашептывать:

— Торопись, опоздаешь!

Вот и бегут, надо-не-надо, без оглядки. Толкают без уважения.

— Что ты, чорт, рачьим ходом идешь? Вперед смотри, а не назад, ротозей полосатый!

Мерит палочка мелкими стежками мокрую панель Первый раз остановилась у корзинки с леденцами.

— Давай, мамзель, сладости на три копейки.

А второй раз у освещенного окна. На нем бокалище ведерный нарисован, и пена через край а рядом рак.

Тут еще раз обдумалось все. Как спросить? Ведь придется по имени и отчеству назвать. Была Дуня, а тут пожалуйте—Евдокия Власьевна, как бы в четвертом измерении, прямо хоть уходи!

Но пощупал в кармане леденцы и вошел.

Над липучими столиками пивной дух. Звенит стекло. Эк, людям делать нечего—едва к молодцу у стойки продерешься.

— А что, нет ли здесь Евдокии Власьевны?

— Здесь, здесь. А вам зачем?

— Скажите, что родственник по мужской линии.

— Так вы зайдите сюда. — Сунул молодец голову за портьеру:

— Евдокия Власьевна, к вам! И Кронида Семеновича в комнату пропустил.

Навстречу сама хозяйка.

— Что-й-то, господи, никак Кронид Семенович? Так и есть! Ну, что же, здрасте! Вот уж скажу неожиданность — оробела даже, как дура. Может, присядете? Только, конечно, уж не в гости, а так. Вон как у вас в грудях свистит!

— Спасибо, Евдокия Власьевна, присяду, отдохну немножко. Вот, знаете, свист какой в сердце залез: пока сижу — ничего, а то так очень громко, даже неприлично. А ничего не поделаешь — года!

Сел, пальтецо расстегнул и в платочек высморкался.

— А я думаю, дай-ко зайду, спроведаю, как вот Евдокия Власьевна поживает и что мой сыночек поделывает? Вот гостинец ему принес.

Положил леденцы на стол и ответа ждет.

Не сразу ответ получился.

— Вон вы куда метите, Кронид Семенович? Насчет сынка надумали чего-то? Только, слава богу, поздно.

— То-есть, как это поздно?

— А так.

— А как так?

— А так. Помер сыночек, и все тут.

— Как так?

— Да что вы все: как да как? Помер, говорю, и на кладбище лежит. Помощи вашей не дождался, вот и пошел на вас жаловаться.

Но словно не слыша, повторил тихо Кронид Семенович:

— Как так помер?

— Уж не знаю, оглох ты или что, только скажу тебе, был плох, а стал кажись еще лучше! И с чего это жалость на себя напустил? Сыночек, сыночек! А на что он тебе, сыночек-то, сдался? Когда голо-

дали, вспоминал? На письма отвечал? Нет? Ну, так и не отец ты, а как был трепло, так и есть! И, пожалуйста, уходи ты, Кронид Семенович. Очень скучно мне смотреть на тебя, ненужный ты человек!

Хотел ответить, но встал и зашаркал к выходу.

— Возьми с собой сладости-то свои, раковые шейки, куда мне их?

Возвратился послушно, раковые шейки в карман положил и, не мигая, сказал с расстановкой:

— Халда ты, халда, пивная хазина!..

Больше ничего не придумалось — повернулся и прочь пошел. А если бы оглянулся, удивился бы на Евдокию Власьевну — она плакала.

Когда вернулся домой, на примус обрушился. Уж тот и горит и шипит во всю, а его-то качают, а его-то качают, чуть-что не задохся. Еще немного, и до взрыва дело довел бы. Кипятку накипятили, долго ключом бил — только зря: чайком Кронид Семенович почти не баловался — какой-нибудь там стаканчик, только чтобы раковые шейки не завалялись, а сам все пых-пых — пыхтит папироской, одной да другой, да третьей, а потом, не молясь, в постель.

Действительно, дыму много, а что толку?

Перед тем как лечь, книгу свою по привычке раскинул, но даже до чистого листа не доискался, бросил — так и осталась раскрытой, коли заглянуть, прочитать можно.

„Бульон с ромом для слабых детей и взрослых, которые принуждены вести деятельную жизнь и быть в постоянном движении".

А дальше самый рецепт и приписка:

„Сытый голодного не разумеет".

Странная вещь, как в постель ляжешь, так кровать старая сперва легонько начинает раскачиваться взад и вперед, взад и вперед, а потом все быстрее и быстрее, и тогда со всей комнаты дым на постель лезет и глаза застилает. А из дыма лик смотрит: нос на месте, а остальное наоборот: глаза внизу, под ними борода дымом, а рот наверху и лоб, как подбородок.

Изо рта дым со свистом пускает, а сам крутится, глазами под дым подглядывает.

— Видишь четвертое?

— Отстань ты, отстань, не хочу!

— Нет, смотри, смотри! — и тащит.

Упереться бы в дым руками — расступается.

— Отстань, пусти!

Вот заклубилась вся голова вместе с дымом и подтягивает под себя Кронида Семеновича:

— Не бойся, сейчас поймешь, только бы ветру не было.

Но подул откуда-то и сдул и дым, и сон весь.

В комнате темнота, хотел встать, да в стену уперся и удивился, зачем это головой не в обычную сторону лег. Полежал, спички нашарил, чиркнул — все как прежде, и стены на месте.

— Закрутило, значит... Ох умру скоро! Странная вещь сон, всегда серый, никогда за всю жизнь цветным не был. Вот где тоже не без четвертого.

Задумался, и вдруг вокруг все поросята, поросята, с человечьими личиками, и пить по-ребячьи просят.

Жалко, а помочь нельзя: дым кружит, идет он весь петлями, и петля в петлю лезет.

— Смотри, видишь, видишь четвертое?

Взглянуть страшно.

— Видишь, видишь четвертое?

— Пусти, не хочу! Дай мне на поросяточек любоваться.

Протянул руки, но нет поросят, только дым. И так всю ночь.

А наутро — письмо, случай редчайший, и притом на кухне сказывали, что принес не почтальон, а мужчина. Очень вот так тревожно письмо получить, наверно неприятность от людей. Все же распечатал.

„Очень извиняюсь перед Вами, Кронид Семенович, и беспокоюсь, дошли ли благополучно? Как вы были вчера расстроившись, то могли и раздавить вас. Простите меня за неправду, будто сынок ваш помер — сказала по глупости. Думала я, что худое замышляете, потому что вам это безразлично. Если бы не стали ругаться, было бы мне на сердце недоверие. А тут увидела действительно, как отец рас-

строившись. Я сильно после убивалась. Сынок же ваш жив и очень здоров и даже в пионерах. Напишите, пожалуйста, могу ли я с ним притти?

Известная Вам Дуня".

Засвистело в груди, как будто шел далеко и устал порядком. Однако встал и начал ходить туда-сюда, туда-сюда. И на дым табачный ноль внимания, а тот слепой, сзади тянется, утешить хочет, а не видит.

Тут надумал Кронид Семенович и зашаркал быстро к племяннику, душу отвести—больше не к кому, — и сперва торопился по коридору, а потом все медленней, и когда постучал, то остыл, раздумал и назад в комнату пошел.

— Дядя, дядя, ты что?

— Нет, Сашечка, ничего, ничего. Хочешь, кисет тебе отцовский подарю, отца вспоминай.

— Спасибо, старина, это ты хорошо надумал.

Дверь притворил и вернулся к приятелю:

— Дядька тут у меня, старый режим, век доживает — чудной старикашка!

И писал у себя за столом Кронид Семенович:

„Евдокия Власьевна, получил ваше письмо и спешу ответить. Прошу вас, пожалуйста, пока я жив, ко мне на квартиру не прибывать, так как личность ваша мне очень теперь противна. Если и сын мой похож на вас, то значит и он будет лгуном и прохвостом. За что обидели? Очень давно не писал

писем, а сейчас такое бранное и может последнее, так как свищу очень.

Когда умру, обязательно придите шифоньер взять для сына, а зеркало племяннику — пусть на себя любуется. Письменный стол и примус на возмещение похорон. Также прошу вас взять известную вам книгу, куда я все записывал, она будет на столе. Сохраните ее для сына".

Подписался и почувствовал, что теперь навсегда пришел тихий порядок, как у всех одиноких, и сказал вслух:

— Верно, верно, — щучьи мощи никому ненужные — пора уходить!

Встал, подошел к шифоньеру, открыл ящик, облокотился и долго смотрел на наколку бисерную и пустой одеколоновый флакон.

Потом опять сел за стол, открыл книгу и записал.

„На другой день после великого наводнения видел, как одна старушка чайником воду из своей подводной конуры отливала. Видать измучилась, руки дрожат, чайник расплескивают, и никто ей не помогал"

Провел рукой от глаза книзу по щеке и пегому усу.

И приписал по обычаю, только не так разборчиво:

„Вот и мне одиночества своего не вычерпать".

ВОДОРОСЛИ

Глава I.

Чуткая старая кровать непременно скрипнет перед тем, как человек, лежащий на ней, захочет повернуться. Вот и сейчас скрипнула, но ошиблась: человек продолжал лежать, как лежал, а видать, что хотел повернуться, только нынче хотенью его — грош цена. Про то хотенье забыли навсегда и руки, и ноги, а нынче и язык. Теперь чей черед? Должно быть за последним и самым главным. Но еще оставлены тому человеку, против воли, неведомо зачем: слух, дума да глаза, хочешь — не хочешь, а дослушивай, додумывай, доглядывай, только скорей, скорей. А чего уж тут? В лице смертная грусть и ожиданье отхода, и в этом безраздельно все. С людьми и людским покончено. Их уже около нет. Все же мешает всякое, ничтожное, мелькает мимо, прыгает перед глазами в разные стороны, без следа, без цели, как водяные пауки на пруде. Вот откуда-то из бывшего и совсем чуждого:

Буденый наш братишка,
Первый красный офицер,
Сумеем кровь пролить за Се Се Сер.

И опять то же сначала: „Буденый наш братишка...“ сумеем... и опять то же сначала. Даже мотив звучит.

Вдруг представилось ясно: Женичка, внучка крохотная, это она еще о себе напомнить хочет. Выводит голосенком тоненьким, а родные потешаются, ласкают, платьице одергивают.

— Вишь, какого себе братишку завела! Да уж ты защитишь, сумеешь кровь пролить! Да уж ты, Женичка!

Сердился тогда и на нее, и на родителей, зачем такое петь позволяют. Теперь — все равно.

Перед глазами невысокий серый потолок, а на нем трещина в виде носа с верхней губой. К носу прицепилась паутинка, давно уже вьется, щекочет тот нос, силится от него оторваться, обросла всякой копотью, почернела, потолстела, и степенность в движеньях приобрела. Колышется неровно, словно дыхание снизу чувствует.

Гонятся еще иногда по потолку полосы, не разберешь: черные за белыми или белые за черными, бегут быстро, а догнать друг дружку не могут.

Так-то почти у всех бывает — редко кого перед исходом небо утешает, а то все больше потолок, да еще и с паутинкой. По комнате тишина стелется, густая, тяжелая, липкая, пожалуй, скоро слышно будет, как паутинка у потолка трепыхается или еще как сердце достукивает. Трогает оно грудь нестройно, словно ребенок клавиши у рояля.

И еще опять:

„Реки текут в море, а в море вода все-таки соленая".

Возле парт учитель тощий, в сюртуке. Видать, привычка у него по лицу рукой проводить, словно умывается. Ученики передразнивают. Ходит и диктует:

„Некто сказал ложь, будто в театре не было лож. Петров, ты выйди вон: ты подглядываешь".

Это ему, Петрову, не уходящему теперь совсем, бывшему, ненужному генерал-лейтенанту Петрову, а тому, с молодыми послушными ногами. Выходя, передразнил: умылся, как учитель. Да, да, в море вода все-таки соленая.

Прыгают водяные пауки, мешают. Перевел глаза с потолка на окно: на противоположной стороне улицы — вывеска, букв не разобрать, да и не надо, известно и так: там облинявший кинематограф „Софи". Раньше вечерами цветным светом приманивал, теперь прогорел.

Но мучится ожиданьем усталый дух. Горек, но точен перед вечностью счет истекающих минут, и долги они, как вся бывшая жизнь.

Теперь уже скоро.

И сейчас же клокочущая разгулом и радостью толпа в два цвета, черная и серая. И тянется вверх по дворцовой мачте большой красный флаг. Возможно ли? Для толпы, для этой толпы, красный флаг на дворце, и в нем пленником обреченный народом царь!

Сказал тогда сыну:

У меня остались глаза, чтобы оплакивать, а у вас,

покорившихся, чтоб искать себе пищу. Нет, скорей прочь, хоть к чорту на рога, куда попало, только скорей из этой проклятой богом страны с безумным народом!

Однако не уехал, хотя и мог, и, когда сын надумал уезжать, сказал запинающимся от паралича языком:

— Не могу я отсюда, — и виновато улыбнулся. — Я не думал, как это тяжело, какое это страшное слово „отсюда“. Теперь знаю. Там берег бы как святыню подошву, к которой прилипла наша грязь. Нет, нет, она не только ваша грязь, но и моя.

И потом еще:

Но это уже было то, что подошло и, не раздумывая, окончательно выключило последний ток из тела генерал-лейтенанта.

Там, наверху, взметнулась паутинка, а внизу скрипнула несколько раз под ряд недоумевающая кровать и затихла до нового хозяина...

Человек, позабывший себя навсегда, запечатлел от жизни в своих бывших глазах невысокий серый потолок, а на нем замшелую паутинку...

Глава II.

За обычным семейным обедом роняются, как всегда, пустые, слабые слова. Только чтоб тихо не было. Скучают без слов комнаты и человечьи уши, особенно стариковские.

— Щи-то сегодня, Марья Ивановна, на славу.

— Да, Николай Федорович, мясо хорошее, оттого и навар.

— Сольцы вот только маловато, а стол кривой, соли-то и не поставили.

— Да вот же, Николай Федорович, перед вами.

— И то верно, и то верно. А я и не вижу. Глаза совсем плохи стали. Этак и тараканчика со щами принять не трудно.

— Бог с вами, откуда же таракан-то завалится, коли я все сама делаю?

— Да ведь я только так, к слову, вы не обижайтесь. Сами знаете, Марья Ивановна, сколько за это время всякой дряни наплодилось. Раньше ее выводить умели, а теперь все перезабыто да перепутано. Вон меня клопы одолевают, а средства нонешние только новых плодят. Теперь мне покоя от клопов не стало, и крупные, подлецы, как раки. Таких и при царском правительстве не водилось. А вот в обновленной-то России живут, благоденствуют. Черти. Ну да недолго теперь. Вчера мне один псаломщик поведал: „Ожидаем, говорит, больших перемен". И вот этак подмигнул. А у него, знаете, значительные заграничные сношения, он в курсе...

За столом говорят двое: старый, потерявший зубы и возраст, дед и тетка-хлопотунья. Та, когда говорит, для ясности очками себе помогает. Молчит же всего один племянник их и внук. За время обеда ему впору с газетой управиться: новостей

много, а время все рассчитано. Нет-нет да и взгляд на часы с кукушечным боем. Уже седьмой час, а к восьми на заседание. В газете же материала через край: и политика, и профсоюзные сообщения, а сегодня как раз и отчет об его докладе на партийно-производственной конференции. Надо просмотреть, не переврали ли чего-нибудь. А тут старики досаждают. На время как будто угомонились, однако прожевали и опять слова теряют. Теперь уж и его задеть пробуют.

— А погодка-то, Аркаша, совсем того.

Кивнул, не отрываясь от газеты.

— Н-да, холодно.

Для старика—это не ответ. Оттого пожевал ртом и еще добавил в виде вопроса:

— Если бы не ветер, так еще ничего, а то вот ветер?

— Н-да, ветер.

А тем временем руки делают свое дело, подают в рот щи и хлеб вперемежку, а иногда оправляют свесившуюся черную прядь. Пришло в голову: вот оккультисты говорят об энергетике мысли, будто ни одна фраза не пропадает, носится там где-то. Сколько же тогда в мире требухи всякой накопилось?

От тарелок с синими ободками — капустный, домовитый дух.

Слепые к вечеру оконные стекла тоже ко щам не без внимания: затянулись мелким туманным пóтом.

Ко второму блюду из другой комнаты подошел неспешной походкой уверенный в себе черный кот.

Подойдя к столу, он быстро согнулся, помыл себе правый бок и спокойно присел возле тетки.

— Сейчас, Степочка, сейчас. Вот умница! Скотина, а свое время знает.

В пояснение очки снялись с насиженного места, сделали мертвую петлю и опять вернулись на нос, как раз на сделанный ими красный рубчик.

А деду только того и надо.

— Да уж скотину на часах не проведешь. Например, петух: уж как ты там стрелку не верти, а он в свое время мах-мах крылом, да и кукареку. Вот ты с ним и поговори.

Но все же никак не вовлечь в разговор племянника. Перевернул газету и перешел на четвертый лист. И вдруг новость, будто берегла ее тетка в резерве на самый большой молчок.

— Ах, что ж это я! Ведь Андрей-то Федорович скончался.

Встрепенулся старик.

— Какой Андрей Федорович?

— Да Петров-то, генерал Андрей Федорович.

— Ах, генерал Петров, как же, как же? Так умер? Да что вы, скажите, умер? Ну, царство ему небесное. Мужественный был вельможа и человек. Это ведь он государю сказал: ваше императорское величество, говорит, дозвольте умереть у ног вашего величества. Историческая фраза. И вдруг про такую-то фигуру читаю недавно: бесцветная, мол, личность. Ну не смешно ли? Воистину черти, черти

и есть. Так умер? Так, так. Ну да ведь он после того долго хворал.

— Да, в параличе и умер.

И тут опять чрезвычайно значительное, что услышалось сквозь газетные новости.

— Ну теперь сын-то его, Валерий Андреевич, уедет.

Приподнял от газеты голову.

— Куда?

Никак проняло. Теперь, чтобы не потух интерес, даже очки позабыты. Вскинулись на лоб, так и застыли.

— Да за границу-то, из России. Он ведь только из-за старика и сидел здесь. Старик все чего-то упрямился, не хочу говорит...

Вместо газетных букв и теткиных слов перед глазами промелькнули покойный генерал, его сын и так непохожая на всех окружающих Ольга Степановна. Подумалось с раздражением: как нелепо! Умер ненужный человек, другой, еще того похуже, собирается уезжать куда-то, и от этого зависит так много, так много. Но ведь она-то не уедет?

— Теперь уж ему никто не помешает уехать, — дошли до ушей подробные теткины рассуждения. Телефон позвал в соседнюю комнату, и оба старика враз подхватили:

— Аркаша, телефон.

Подошел, снял трубку и сказал привычную фразу:

— У телефона Малевич.

И сейчас же из трубки знакомый голос:

— Аркадий, мне нужно видеть тебя. Буду ждать в Липовой аллее возле кино.

— Не могу, у меня в восемь заседание.

— Аркадий, это очень спешно, и мне тяжело.

— Хорошо, а сейчас можешь?

— Постараюсь.

— Ну, тогда выхожу.

— Хорошо, прощай.

— Пока.

Повесил трубку. Вернулся к притихшим старикам.

— Ну, я должен уйти.

— Как же так? Даже не дообедал?

— Что делать, — дела. К чаю не ждите.

— Смотри не простудись.

Вышел в переднюю, оделся и ушел.

Обед кончали вдвоем.

— С кем это он по телефону-то? — Съехали очки на успевший побледнеть рубчик.

— Пойди, пойми его и передразнил: Да, нет, не могу, хорошо, до свиданья. Мудрит тоже. И-эх, скрытные люди нынче пошли, Марья Ивановна. Спасибо за обед.

— Не на чем, не мой ведь.

— Ну так тогда за компанию.

— И вам за то же.

Уходя, в дверях, оперся на косяк и обернулся.

— А скучно ведь таким как мы, Марья Ивановна. Ходишь вот так из комнаты, в которой ешь, в комнату, в которой спишь.

— Что делать, что делать, Николай Федорович, терпеть надо. Другим-то еще хуже приходится. А только вы еще одну комнатку упустили... из деликатности.

— Какую? Ах, ту-то. Ну да и то верно, еще вот и ее. Да. Достукались, черти. А?

— А что?

— Да вот нам с вами говорить стало не о чем, а им всем некогда. Мечутся без толку. Скучное время пришло. Конец света скоро. Глад был, мор был, брат на брата восставал, теперь еще знамения на небе, и всему крышка. Смотрите, вилку на столе оставили.

Постоял, пока Марья Ивановна не подобрала вилку и не ушла на кухню. Потом пожевал губами и пошел к себе.

Комната, в которой едят, опустела... Из кухни недолго побренчали посудой... С подоконника в столовой неожиданно громко и суетливо застучали об пол скатившиеся со стекол капли пота. Скоро натекла лужа, паркет на том месте потемнел, а капли стали стучать медленно и степенно. Наверху, на стенных часах, распахнулась дверца, из нее высунулась кукушка, торопливо откуковала положенное число и сердито захлопнула дверцу. Зря куковала. Старикам не нужно, а молодой хозяин всегда уйдет до времени.

Через комнату, сладко потягиваясь, мягко как в валенках, прошел на кухню кот Степан хлопотать об отлучке на лестницу по его кошачьей надобности. Комнаты ожидали послеобеденных снов...

Глава III.

Воспоминанье, как нищенка, любит приставать к человеку, когда он один. Встанет около и шевелит беззвучно губами понятное только им двоим.

Так было, пока Малевич сидел на скамейке возле кино и ожидал Ольгу Степановну. Еще недавно аллейная тень дышала липовым цветом и пела пчелиные песни, а по дорожке и скамейкам, сквозь листву, наметывались солнечные диковинные следы. Тогда хотелось шутить. Припомнилось, как он говорил Ольге Степановне.

— Вот, Оля, два слова: любовь и революция. Они связаны духовно, ибо и та, и другая не могут быть перманентными. Кроме того, обе несут за собой диктатуру.

В ответ любимый веселый взмах кудрей и белые смеющиеся зубы.

— Насчет постоянства ты не прав, потому что лично у меня есть и постоянная любовь к революции, и такая же постоянная революция в любви. И знаешь, при таком положении не может быть диктатуры. В худшем случае здесь будет только жалость.

— А ты жалеешь?

Подняла с земли липовую ветку и задумалась, обрывая листья.

— Может быть, немножко. Вот когда я была маленькой, я всегда жалела речные водоросли. Ты представляешь, как они стелятся по дну, в сторону течения, или тянутся за лодкой, за каждой рыбой, за всем, что движется. Но корни их крепко сидят в родной грязи. Бедные, безвольные водоросли! Здесь они отцветут и сгниют. Иногда я вырывала их, бросала плыть по течению, губила, а думала, что даю счастье.

Ольга Степановна не шла. Наверху осень перебирала к зиме и заботливо проветривала свои пушистые серые одежды, и с них сыпалась на землю мелкая водяная пыль. Непреклонная ветровая воля срывала ослабевшие листья и гнала их по дорожке. Листья покорно бежали, безразличные ко всему. Они знали, что, быть может, через несколько часов та же воля погонит их в обратную сторону. Мимо скользили люди, бросая фразы:

— Да, тяпнули вчера основательно. Мишку под утро вот на этой скамейке обнаружили. Сидит, ест грушу и горько плачет.

А в противоположную сторону:

— Понимаешь, ценна не теория исторического материализма, а пролетарский инстинкт.

Неожиданно на скамью сразмаху сел человек в подпоясанном брезентовом пальто. Он несколько

минут не шевелился, затем ожил, протер пенснэ взглянул на Малевича и протянул ему руку.

— Здравствуй, сидящий. Камо грядеши? Страдать иль наслаждаться? Имей в виду, лишь на последнее благословляю тебя всегда и присно.

Только теперь можно было сообразить, кто сидит рядом.

— А, Павел Хрущев, здорово! Что это, ты никак обрился?

— Обрился, дорогой друг, обрился. К чорту усы и бороду антрика сиречь Генрих четвертый, и прочие волосяные изделия. Не хочу, не желаю: обновляться, так обновляться по всем швам! К тому же время, ибо все равно мое исподнее и верхнее расползается и по швам и так.

Из громоздкого брезентового капюшона глядело в осенний дождь неподвижное, худощавое лицо. Все настроения передавались только хрущевскими брезентовыми рукавами.

— Ну, Павел, что нового?

— Quid novi? Так говорили римляне времен упадка, отвыкай от этого. Да, вот, ничего, как видишь. Звание мое все то же: безработный учитель. Нет, ты почувствуй мою обиду: хочу учить и некого! Паства отсутствует.

— А ты все такой же, Хрущев!

— Конечно, Хрущев такой же, но вопрос: какой?

— Да веселый.

— А на кой чорт всем вам моя грусть? Я грустен

только сам с собой. Если меня засадят в одиночку,— это, конечно, не про коляску, а про другое, — тогда я загрущу. И-эх, как загрущу! Но при настоящем режиме мне сие не грозит, ergo — Хрущев до самой смерти останется штатным весельчаком.

Брезентовые рукава взметнулись вдруг в разные стороны.

— Ну что ж, что грязь? Что ж, что дождь? Наплевать? Будет солнце, будет и чисто и сухо. А солнце во-он там или за тучами, или закатилось для восхода. Кстати, ты в галошах? Это хорошо. Все же сыро.

Издалека со станции донеслись два звонка. Сообразил: это поезд семь тридцать. Через двадцать минут нужно уходить. И вдруг неожиданно и тревожно промелькнуло: а что если она уедет?

Хрущев встал и уперся в скамейку коленками.

— Еще насчет веселости, слушай и не перебивай. Я бы для поднятия производительности приказал на фабриках и заводах, во время работ, забавлять рабочих смешными историйками и анекдотами, можно даже политическими. Да, да.

Брезентовое пальто стало в позу.

— С песнями труд человека спорился! Смекай, инженер, наматывай себе на черный ус, это советует беспартийный индивидуум, мечтающий о благе государства. В конце концов, я больше, чем партийный, я добровольный и необходимый материал для дальнейших социалистических опытов. Я сам готов просить: пожалуйста, дальше, пожалуйста, еще!

Из правого рукава вылезла рука и легла на плечо Малевича.

— Представь себе грандиозную лабораторию во главе с великими учеными и преданным делу штатом. Лаборатория накануне величайших открытий, за ней с трепетом следит весь мир, — рукава ходили все быстрее и быстрее, — и вдруг иссякает нужный для опытов материал. Несчастные ученые, бедный преданный штат! Что это как не мировая трагедия! Ты понимаешь теперь великую заслугу и задачу таких, как я? Шутки в сторону, честное слово, если гром великий грянет, мое ничтожество пойдет защищать СеСеСер, чорт ее возьми, да, да, от всех и от всего! — Отдулся и добавил: — мне терять уже нечего.

Капюшон свалился, фуражки под ним не было. Времени оставалось немного и нужно было перебить Хрущева.

— Да, жалко, Павел, что мне сейчас нужно на заседание, а то бы мы поспорили. Ты сегодня в ударе.

— Я то? Да, в ударе. Вероятно оттого, что у меня сейчас сперли кошелек с последними. Неважно. Я кончаю, дружище. В назидание себе слушай: у меня сейчас в наличии и при себе: мокрые ноги, чахлые мускулы, близорукие глаза, пустой желудок, что еще, — задумался, обтирая рукой намокшую лысину, — да и над всем этим нелепой формы вот этот черепок с несгораемыми человечьими

мыслями. Ведь недаром мозги über alles, хоть на каких-нибудь там на два с чем-нибудь аршина, а все же ближе к солнцу. А ведь можно было бы мозги где-нибудь и внизу устроить, когда лепили-то? Плевое дело, — можно. Что? — примолк, вглядываясь в подходящую тень. — Аркадий, к тебе идет женщина, это бесспорно, прощай.

Резко нахлобучил капюшон, сорвал им пенснэ, но поймал на лету, надел и ушел, насвистывая марш.

Ольга Степановна быстро подошла к скамейке.

— Здравствуй, прости, что запоздала.

Взял под руку, заглянул в лицо.

— Да, Оля, у меня осталось всего каких-нибудь семь-десять минут. В чем дело? Что такое?

— Да вот, — задумалась она и стала поправлять на голове платок. Потом как всегда быстро и решительно, — вот что: я расстаюсь с мужем, он уезжает за границу, а я остаюсь, мне там нечего делать. Здесь же, кроме тебя, никого. И вот я решила перебраться к тебе.

Мысли к порядку, к порядку, все чувства потом, а сейчас нужно суметь сказать так же просто, как и она. И поймал себя: значит, это будет уже не просто, а надуманно. И тотчас сорвалось:

— Когда же ждать?

— На-днях. Завтра муж хоронит отца и затем собирается уезжать. У него уже на руках все нужные документы, осталось только распродать кое-что

из вещей. Давай, посидим здесь немного. Да, к тебе еще муж зачем-то хотел зайти, прими его.

— Хорошо.

Из разговора постепенно уходили деловые, продуманные слова.

— Я ждала от тебя именно такого ответа, спасибо тебе, Аркадий.

Откуда-то на минутку высунулась нищенка, шевельнула губами, напомнила что-то и исчезла.

— Оля, а как же жалость-то к водорослям, помнишь?

И как тогда, но только близко, совсем близко, любимый веселый бросок головы и белые смеющиеся зубы.

— Водоросли? Так, ведь, я-то не водоросль? И то было детство, а для меня все равно, по течению или против течения, только бы не на месте. Тебе пора, идем. Я тебя провожу.

Встали и ушли.

Ветер затихал, он обдумывал новый путь для послушных листьев.

Глава IV.

После докладов, машин, заседаний, хорошо лечь в постель, подумать о своем и с этим, чтоб не видеть ночи, уйти до утра в другую жизнь. Кто скажет, которая — подлинный сон? Скоро комната

почтительно и внимательно вслушивалась в дыхание спящего. Сквозь щель в занавесе и темноту ощупью пробиралась на дыхание лунная полоса. Она натолкнулась на край ночного столика, а на нем на отдыхающий мягкий воротничок и запонку на высокой ножке. Потянулась дальше, провела по широкому с продольной морщиной лбу, нащупала тонкий нос, заглянула в приоткрытый рот и задумалась. Все лицо было пустым. Не нужно человеку лицо, когда он спит. А спящий внезапно приподнял на руках свое туловище, взглянул невидящими глазами на воротничок и быстро произнес:

— Любишь ли, любишь ли....

В тоне не было вопроса, потому что на другом языке говорят живущие в снах, для них земные слова только бред. И тотчас же спящий опустился на подушку, подставил лунной полосе свою черную небольшую бороду и голосом, идущим издалека, неожиданно глухо добавил:

— Больше не рви...

Одряхлели, ослабли вековые слова: счастье, печаль, ненависть, любовь, нет в них остроты, нет уверенности, изговорились, износились, а новых нет. Если беречь их в себе, станут густыми думы и по-особому разговорчивы сны. И снова заворочался спящий, и торопливо заговорил, словно боялся забыть, а сказать нужно о многом.

— Да, да, все заново, заново.

И оборвал.

Лунная полоса продолжала медленно шарить по комнате: сперва по постели к ногам, потом по полу. Когда сошла на пол, натолкнулась на дремлющего кота, и кот сообразил, что мышиные часы на исходе. Он быстро встал, сдвинув вместе все четыре ноги, от этого изогнулась спина, а для равновесия и хвост и так, постепенно распрямляясь, пошел по лунному следу, а когда совсем распрямился, свернул в бледнеющую темноту. Скоро занавеска на окне стала прозрачной, а лунная полоса ушла из комнаты. Сон крепчал. Напоследок он показал стенку с голубыми цветочками на обоях, а на ней множество живых раков. Знакомая, дрожащая, морщинистая рука без остановки скидывала их в ночной горшок, и от всего этого получалось непрерывное шуршанье и мягкий стук. Руку было беспричинно жаль, а стук досаждал все больше и больше и, наконец, стало понятно, что это стучат в дверь. Не открывая глаз, подал голос:

— Ага? Да-а?

— Заспался, Аркаша, пришли к тебе.

Понял, что это тетка.

— Ага, сейчас.

И уже совсем проснувшись, сообразил: сегодня воскресенье—это муж. Вскочил и быстро стал одеваться.

— Вы, тетя, — крикнул он в соседнюю комнату,— попросите обождать в кабинете.

— Да, да, я уж и так сказала. — Теткин голос подошел вплотную к двери: обождите, говорю, пожа-

луйста, в кабинете. — И затем шепотком, в щелку: — это Валерий Андреевич, сын генерала Петрова покойного.

— Да, да, я знаю, знаю.

Зачем он пришел?

Этот вопрос так занимал, что Малевич чуть было не вышел к гостю без воротничка. Одевшись, поспешил в кабинет. Там от окна навстречу твердым шагом пошел к нему невысокий брюнет с размеренными, готовыми на все случаи, жестами и послушной любезной улыбкой.

— Аркадий Алексеевич, простите, что вторгаюсь к вам, но жена передала мне, что вы ничего не имеете против моего посещения.

Как будто ничего не случилось — приятный визит для укрепления желательного знакомства, не больше.

— Пожалуйста, я очень рад, — запнулся и добавил, досадуя на себя, — вас видеть. Прошу садиться.

Сам присел к столу, взял без нужды логарифмическую линейку и, не смотря, стал раздвигать и сдвигать ее. Напротив в мягком кресле, заложив нога на ногу, удобно уселся муж Ольги Степановны. В руках прежде всего сверкнул и щелкнул портсигар.

— Вы курите? — услужливо широкий жест в сторону Малевича.

Хотелось курить, но почему-то отказался и вообще решил молчать и ждать.

Не спеша закуривалась папироса, спокойствие и уверенность в движениях давали неприятное пре-

восходство, к которому сам Петров привык и не замечал.

— Так вот, Аркадий Алексеевич, вы сейчас изволили запнуться, когда заговорили о радости встречи со мной. Это хорошо, это искренно. Естественно, что вам только хочется знать, зачем сидит перед вами этот человек, догадки, конечно, строите. Но я их сейчас разрушу. Я пришел к вам не за чем, а так, ну вот почти что просто так.

Рука с папиросой делала возле рта мягкие вразумительные движения. Правый глаз при разговоре щурился.

— Видите ли, мне захотелось узнать, зачем и для чего моя жена категорически отказывается от прежней жизни, меняет мужа, отдает ребенка... Поверьте, с моей стороны это не простое любопытство, здесь есть несомненная общая польза. Вы поймете это потом.

Он обвел глазами комнату и медленно выпустил изо рта дым, о чем-то размышляя, затем сказал для себя:

— Да, теперь мне все ясно...

— Простите, — решил вмешаться Малевич, — все же я не могу поверить, что вы захотели видеть меня просто так.

Внимательно выслушано и сейчас же оживленно:

— Тем не менее это совершенно верно, уверяю вас. Если иметь в виду какую-то цель, какой-то результат от этого посещения, то у меня их, конечно, не было и нет. Просьба есть, и об ней упомяну,

но это не в счет, так как просьба моя очень наивна и немножко, если хотите, сентиментальна. Но об ней потом, потом, при случае.

Откинулся на спинку кресла и затянулся. Папироса была ароматичная. Табачный дым дразнил, а закурить, когда только-что отказался, считал доказательством застенчивости. Спросил, чтобы поддержать разговор.

— Вы скоро уезжаете?

— Да вот вчера похоронил отца. Почтенный был генерал и знаете так просто, без музыки, ужасно тяжело... А теперь вот закончил все дела и завтра уезжаю, а, следовательно, завтра же передаю вам жену. Берегите ее, в общем, она не плохой, но взбалмошный человек, одним словом, как теперь говорят, идейная. Господи, какая все это чушь!

Особенно нажал на слово „какая", скинул ногу и прищурился.

Накапливалось раздражение.

— Почему чушь?

— А вот почему. В России, изволите ли видеть, за эти годы каленого железа и крови, среди интеллигенции произошел естественный подбор: слабое — раздавлено и стерто, сильное — либо ушло, либо погибло. Остались приспособляющиеся, растения, живущие на всякой почве, при всяком уходе, иначе, — сорная трава на пустыре, мечтающая о культуре. Ну что ж, по траве и культура. А впрочем, к чему я все это говорю? Теперь, посетив вас и погово-

рив, еще раз прошу позаботиться об Оле, даже в том случае, если она от вас уйдет. А она уйдет.

Положил на место линейку, неприязненно взглянул на говорящего и резко бросил:

— Почему?

Следил, как Петров, не спеша, отошел к пепельнице, погасил папиросу и, обернувшись, спросил в упор:

— А как вы думаете, переехала бы она к вам, если бы я не уезжал из России?

Прищуренный глаз и быстрый успокоительный жест, предупреждающий ответ.

— Простите, мне не нужен ваш ответ, Аркадий Алексеевич, какой бы он ни был, я останусь при своем. Толчок дан, теперь Оля не остановится. Вам ли удержать? Что у вас? Вон в углу иконка, там рядом часы с кукушкой, тетка старуха и, наконец, вы с логарифмической линейкой, ушедший в работу. Нет, нет, это все то же, это ей мало, это пусто, мы мечтаем о великих подвигах на пустыре. Ну вот поэтому — поклон в сторону — счастливо оставаться, именно так, а не иначе, оставайтесь счастливыми, если можете, обесцвеченные люди! А когда мы сюда вернемся, ого, мы расправимся! Будем полоть, — улыбаясь пожал руку, — и таких, как вы, — в первую очередь.

Сколько можно передумать и взвесить за одну минуту, а затем, тряхнув бодро головой, утешить себя:

— Все это не так.

— Нет, это так, так-с, поверьте.

Прошелся по кабинету и остановился близко. В голосе мягкость:

— Послушайте, у меня к вам еще одна просьба: приходите с ней, с Олей... вместе... провожать на вокзал. Ради нее, — ей будет легче, я знаю. Хорошо?

Кажется, сказал в ответ: „хорошо“, а может только кивнул головой. Затем, проводив гостя, вернулся в кабинет. Подошел близко к окну... Мимо по улице твердой походкой прошел тот, принесший с собой тревогу... И опять, как недавно во сне, и, может быть, даже вслух, подумалось:

„Любишь ли“.

Стекло от дыханья вспотело и затуманило улицу.

Когда пошел пить чай, решил сказать сидевшим с ним старикам:

— А я женюсь.

И первый раз, после некоторого молчания, протянул старик всего лишь одно слово:

— Та-а-ак.

Тетка же, протерев очки, спросила:

— А на ком, Аркаша?

— На жене Валерия Андреевича.

Больше ничего не сказала и забренчала в полоскательнице чашкой. А дед пожевал губами и протянул опять:

— Та-а-к.

А спустя немного, добавил:

— Ну что ж, в добрый час...

Глава V.

Всякая жизнь слагается из коротких и длинных часов. Разве можно временем точно измерить жизнь?

— Мамочка, а когда паровоз сделает у-у, я поеду?

— Да, да, детка, теперь уже скоро, потерпи.

А сама вглядывается, вглядывается в мягко намечающиеся черты будущего лица и вбирает их в скорбную память. Да, будет похожа на мать...

— Женичка, а ты будешь помнить меня, ведь, будешь, да?

— Да, а где моя груша?

Вот сейчас, сейчас вырвется:

— Нет не могу, не отдам!

Или иначе:

— Кончено раздумала, еду с вами!

Но мозг твердо, как всегда, управляет всеми чувствами и знает то неизбежное, что произойдет через пять-десять минут. Тогда, после смерти старика, обо всем было переговорено, все решено бесповоротно. В дверях купэ со знакомым сощуренным глазом тот бодрый, тот, кто тогда говорил дрожащим, сдавленным голосом:

— Вот ты бросаешь меня, — твоя воля, а ребенка ты тоже отнимешь?

Решила:—я крепче его, пожертвую своим, помогу... и шевельнула побелевшими губами:

— Нет, Валерий, оставь себе.

Теперь он спокоен:

Ну вот и рассчитался со всеми. А Аркадий-то Алексеевич не прибыл?

— Да, я забыла сказать, он просил передать, что у него срочная работа и, если успеет, то придет.

— Так, так. А ведь я просил его сделать это для тебя.

— Да, но работа прежде всего.

И снова попытка:

— Оля, последние минуты, скажи, что едешь с нами?

Скоро ли тронется поезд? Силы имеют предел. Но спокоен и тверд ответ:

— Не могу.

Снял и повесил на крючок пальто. Подсел близко. Обнял ее и дочь.

— Со свистком паровоза мы умрем для тебя. Не понимаю, что может удерживать здесь? Неужели любовь?

— Я тебе говорила что̀, но ты не хочешь понять. Наконец, я тоже могу повторить: оставайся ты здесь.

И словно в отместку, такой же спокойный и твердый ответ:

— Не могу.

— Ну и довольно, довольно об этом!

— Оля, еще об одном... Прошу тебя — перекрести дочь.

— Это будет неискренно, не проси об этом.

— Мама, а ты завтра приедешь?

— Едва ли, голубчик. Вот тебе твоя груша, а ты спой песенку.

— Песенку? Хорошо, сейчас.

Уселась поудобнее, тряхнула кудряшками и затянула, сбиваясь с мотива:

Буденый наш братишка...
И вся-то наша жизнь есть борьба...

Копятся в триповом, тесном купэ долгие мысли о разлуке, пути, о новом, и некуда им деться, и некогда их досказывать.

— Оля, перестань, нехорошо.

Как живой промелькнул дед. Точь-в-точь как говаривал покойный.

— Вот ты неверующая, но напомню тебе один текст: „Жена же лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом.“

— Не подходит. Я сразу же не пошла с тобой. Я остаюсь здесь. А жену лотову я все-таки люблю.

И вдруг домовито:

— Да, Валерий, вот здесь вторые женичкины туфельки...

Раздельно, оттягивая удар от удара, всколыхнулись два звонка.

— Папочка, сейчас поедем? Да? Поедем? — и прижалась носом к стеклу.

В купэ никто не сказал „прощай“, но оно само вошло, и его было слышно.

— Вот такой, с последними материнскими словами о туфельках, я хочу запомнить тебя.

— Ах, Валерий, знаешь ли, чувствуешь ли, что я отдала тебе.

— Да, спасибо. У тебя железный характер. Обещаю: она будет любить страну, где родилась и где осталась ее мать.

— Все это не то, не то. Нет, ты не можешь, не хочешь всего понять!

Загудел паровоз. Выскочила из вагона и успела на миг прильнуть снаружи к окошку. Между дочерью и ею было холодное стекло... Отшатнулась... Поезд мягко и медленно снялся с места...

Так вытягивается из тела большой рыболовный крючок и рвет своими встречными шипами куски живого мяса. Так поезд мимо, мимо, мимо, все быстрее, быстрей, на хвосте красные огни... все...

Всякая жизнь слагается из коротких и длинных часов. Разве можно временем точно измерить жизнь?

Глава VI.

И для больших, и для малых дел судьба всегда нашарит и вытащит из людского садка нужного ей человека. А коли с перепугу сунется ей в руку не тот, — тогда беда: швырнет его, как попало, обратно Зачем вытащила она тебя, Аркадий? Не для того ли, чтоб, забывая себя и других, жить мерной, холодной

жизнью машин? Зачем вытащила она тебя, лотова жена? Не для того ли, чтоб со злобой швырнуть обратно в людской садок?

Сегодня вечером пришло письмо.

Оторвалась от курса политграмоты, распечатала и стала читать.

„Помня твое разрешение писать, приветствую тебя из Крезо. Женя и я здоровы. Скучаем по тебе. Устроились неплохо, хотя сперва наши хозяева относились ко мне с подозрением. В этом виноват без сомнения мой сощуренный глаз, так как они уверяли, что у меня в лице есть что-то коммунистическое. Впрочем, может быть, они правы и помимо глаза. Лично для меня теперь совершенно ясно, что, чем дольше человек проживет в России, тем он все больше и больше разнится от других, живущих на земле, людей. Там у вас привыкли ко многому и многого уже не замечают, иными словами — у вас создается (если уже не создалась) новая порода людей. Ближе они или дальше от обезьяны — покажет будущее. К тому же, по-моему, еще неизвестно, кто от кого произошел: ведь у обезьян имеется несколько счастливых преимуществ — у них два мозговых центра, четыре руки и мешки за щеками для пищи. Как бы это пригодилось во время голода! Но довольно об этом.

Представь себе, что здесь есть русские, которых никогда не касалось дыхание большевизма, например, наши старые друзья Плетневы. Недавно к ним

приезжала из России их дочь Ниночка, и старики, боясь дурного влияния, совершенно изолировали ее от брата. C'est drôle. Ведь ты же знаешь, какие у Ниночки консервативные взгляды. Она рассердилась и хотела уехать. Недаром я всегда говорил, что ваша борьба классов вырождается в борьбу поколений. Как я рад за Женю. Еще раз горячо благодарю тебя как муж и отец.

Бедным соотечественникам, действительно, в большинстве живется плохо. Многих из них спасает тонкое знание шансонеток и уменье наивно танцовать самые неприличные танцы. И все же я горжусь ими. По-моему они предпочли лучшее. Если бы не мысли о тебе, я был бы вполне счастлив, а ведь скоро уже полгода, как мы расстались.

Будь здорова.

Твои путешественники.

P. S. Женичка все спрашивает: скоро ли приедет мама. Нанял ей гувернантку".

Встала. Раздраженно бросила на стол письмо. Какая ошибка, какая непростительная слабость отдать дочь этому фразеру! Как много обо всем ненужном и всего несколько слов о ней.

И, несмотря на это, совершенно отчетливо, вот здесь рядом, должна быть закинутая маленькая кудрявая головка. Тянется она заглянуть в лицо матери, и в этом детская беспомощность и надежда на любовь.

Если, не оборачиваясь, протянуть руку, обязательно окунется она в мягкий, чуть теплый лен волос.

Обернулась — никого... никого!..

Вот еще разве кот, да там кукушка, остальное не шевелится, замерло, уснуло.

Села за стол и задумалась о своем. Глаза набрели на раскрытый курс политграмоты, неуверенно пробежали по первым словам, остановились, поманили за собой мысль, и та, почти не колеблясь, пошла за ними.

„Важнейшими из прав и свобод, предоставляемых Советской властью трудящимся, являются: свобода выражения своих мнений, собраний, организаций, доступ к знанию, право на владение оружием и вооруженную защиту СССР, равенство людей всех национальностей и рас, а также свобода совести и анти-религиозной и религиозной пропаганды".

Шелестят страницы, дальше, дальше, развивать и укреплять молодую веру. А то, свое, дорогое, уже незамечаемое, постояло, выжидая, у стола с письмом, может позовут еще, но не дождалось и на цыпочках, чтобы не помешать, ушло из кабинета.

От абажура деловитый, зеленый свет.

„Всегда ли пролетарское государство будет основано на диктатуре? — Нет, не всегда. По мере ослабления и окончания классовой борьбы, будет все более и более отпадать и диктатура пролетариата".

В дверь на кухне стучали. Пришлось пойти открыть. По ногам холод. Из морозного пара знакомый голос:

— Здравствуйте, будущий деревенский деятель. Обращаю ваше внимание, что добродетель моя в брезентовом пальто. Это не так почтенно, как в рубище, однако, если вы находите, что я нарушаю тон вашей обстановки, я удалюсь с поклоном безразличным.

Пара больше нет. В дверной темноте можно разглядеть капюшон, а в нем неподвижное лицо с нерастаявшими усами. Забавный гость. И сразу шутливым тоном:

— Входите, входите, Хрущев, а то холоду напускаете. Закрывайте дверь и идем в кабинет. Что вас давно не видно? Куда вы пропали?

— Постойте, как у вас тут защелкивается-то? Ага, вот так. Пропал, говорите? Этот глагол требует волеявления, а оно у меня да-а-авно все израсходовано.

На пол падал и таял отряхиваемый снег.

— Скажите лучше — потерялся, — это вернее. Раз и навсегда... res nullius. Вот и наслякотил вам. Теперь еще раз здравствуйте. Итак, виза на вход получена, поэтому протираю глаза, битое пенснэ, вот так и следую за вами. А и здорово у вас тут все приналовлено, семейственно. Вот тарелки мытые на плите обсыхают, словно дамочки на пляже, половичок по коридору — сам под ноги лезет, услужливый, чорт полосатый, а здесь-то, здесь! — Тишина теплая, зеленая...

Хрущев подошел прямо к столу, снял пенснэ и почти положив голову на книгу, стал перелистывать страницы.

— Что ж, этак и политграмоту под абажуром учить не трудно.

— Не иронизируйте, Хрущев, не иронизируйте. Садитесь, я схожу за чаем. Кстати, вы обедали?

Все еще нужно оттирать посиневшие руки.

— Вообще говоря, это со мной уже в жизни бывало... не раз. Знаете, смешная все же штука: сидишь дураком и мелешь зубами пищу для себя. Неважно. К чорту обед!

Отложил книгу.

— А что Аркадий, как всегда, на посту?

— Да, как всегда, живет по гудкам.

Почувствовала в тоне равнодушие и добавила:

— Побольше бы таких тружеников.

Мелькнуло в уме: как это лживо.

— Вернее, побольше бы таких счастливых до края людей, а то вот все либо в роде меня, потерявшегося, либо в роде вас, заучивающей, что такое Се Се Сер. Погодите, не уходите за чаем, присядьте... к чорту еду! Се Се Сер, эх-ма Се Се Сер!

Хрущевская рука закружилась по лысине.

— Для какого-нибудь там иностранца это сочетание звуков дает лишь представление об известной территории, власти, населении, как в науке полагается. А для меня, ух ты, что это для меня!

Хрушев вскочил, быстро прошелся несколько раз по комнате и вдруг остановился возле Ольги Степановны.

— Представляете себе этакую широкую, весеннюю, в сырых снегах, дорогу, туда, в просторы? Или

еще вот, — нагнулся и дотронулся до руки, — комната, знаете, с такими захватанными морозом окнами, а на стене Ленин, два Ленина, а в углу икона, а на столе премногоуважаемый самовар.

Задержался, словно для ответа, и снова по комнате.

— Се Се Сер! Неужели вы не чувствуете этого нежнейшего сочетания радио-музыки и сочного мата, многоголовой думы о Волховстрое и одинокой — о траве для городской козы?

И уже из кресла, затихая:

— А над всем этим — разливчатая трехрядная гармонь, уже разучившая на-слух без ошибки Интернационал. Здорово? Верно? Да что, не мне говорить, не вам слушать.

Помолчали.

— А это? — кивнула на книгу.

— Это? Ах, это тоже неплохо. Но мое для меня лучше.

Усмехнулась.

— Печальный вы экземпляр — упадочный интеллигент. Впрочем вы только говорите и тем подогреваете себя, а сами в глубине уже не такой. У вас есть симптомы перерождения. Если хотите, вы сможете еще и жить и учить.

— Кто? Я? Зачем? Нет, нет. Да и кто поможет мне? Вы, например, ведь не поможете? Нет?

В тоне надежда, что опровергнут.

— Ну и кончено, кончено. И не говорите мне, кончено безвозвратно. В чем дело? Сейчас учить

нужно другим и по-другому. А я — бывший учитель с разбитым пенснэ. У меня для левого глаза весь мир с трещинкой. Бывший учитель — это гордо, это неотъемлемо! Когда-нибудь пойдете прогуляться, купите Вечерку, а там петитом: сегодня умер последний бывший учитель. Порадуйтесь за него. Учитель умер, да здравствует учитель! Это уже в честь вас. Не гордитесь, когда-нибудь вы так же умрете. Ведь что такое общественные и государственные формы? Это точки на круге, по которому не раз уже бегал циркуль жизни. Я — точка позади, вы — впереди.

Нагнулся в кресле вперед:

— Согласитесь, что так?

И не дождавшись ответа, откинулся и добавил:

— А впрочем, смотря откуда и как считать. Ай, что это?

Ольга Степановна сперва не поняла, потом рассмеялась.

— Чего вы испугались? Это часы с кукушкой. Вам нервы лечить надо. Неужели вы никогда часового боя не слышали?

— Нет... не то... Я вообще не люблю часов — машинка паршивая, тоже мерит что-то! Океан наперстком. Колчак отмерил двадцать четыре круга по своим золотым и расстрелял моего сынка. Был у меня такой отросток семнадцатилетний. А потом скоро после того, я с женой муку в Мелитополе раздобывал, так вот она с мешком зазевалась, а ее

поездом. Близко так от меня, приблизительно как до вас сейчас. Мешок с мукой, конечно, разворотило, ее тоже. А вот так, отдельно от всего, в сторонке, рука... в перваче... с часиками в браслетке... Мне их отдали, а они — тик-тик, тик-тик — работают как ни в чем не бывало. Показывали два часа сорок минут... Да, мы с женой дружно жили.

И вдруг с жалким смешком:

— Ольга Степановна, выйдите за меня замуж, спасайте меня! Ведь скоро будет поздно, совсем поздно. А сейчас вы заставили бы меня в ногу, в ногу. Что ж учить тех, кто и без того не сбивается? А мои шаги неверные, ночные. Здоровые люди спят, не слышат, а больные потревожиться могут. Так как? Впрочем не отвечайте: я чувствую, я знаю ваш ответ. Так пусть мой вопрос останется непогашенным. Точка. Давайте о другом. Вот об Аркадии. Парень он хороший, а не для вас. Порознь вы оба нужны, а вместе ничего не выйдет. Расскажу вам, как мы вместе с ним учились. Я шалопай, а он — паинька, однако задорный. Раз химик, гроза наша, рассердился на что-то и спрашивает:

— А что Малевич, ты был, когда господь бог мозги раздавал?

А тот почтительно: „А какже, господин преподаватель, я ведь сзади вас стоял".

Ну, химик наш только гмыкнул, а потом, подумав, говорит:

— Теперь ясно, что он их через одного раздавал.

А Аркадий в ответ:

— Этого сказать вам не сумею, а только я-то их получил.

Так учителя без мозгов и оставил. Очень он мне тогда понравился. С тех пор мы и подружились. Ровный парень, умный, молчать умеет. Красноречивая это штука молчание-то. По плечу оно только для сильных умом и духом. Жалко мне его. Вы ведь курсы кончите и айда в деревню на работу, только вас здесь и видели. Впрочем это хорошо... Ну прощайте, Ольга Степановна, не буду вам мешать, у вас в глазах политграмота.

И уже в кабинете накинул капюшон на голову. В кухне задержался.

— А пуще всего меня тишина ваша восхищает. Мягко, тихо, тепло, как кошачьи лапы. Вот и выходит, что революция родила не только гул, грохот и песни, она принесла с собой для некоторых и нерассеивающуюся тишину. А вот я запирать — запирал, а открыть, кажется, не сумею. Впрочем нет, сумел, сумел, не беспокойтесь. Ну и темно, ни чорта не видно! Прощайте.

Холод по ногам, клуб пара, хлопнувшая дверь захватила брезентовое пальто, но тотчас опять приоткрылась на мгновенье, чтоб выпустить его.

Теперь обратно, к зеленому абажуру. В голове обрывки разговора. На ковре, возле кресла, отсвечивают грязные следы хрущевских сапог, и так ясно представился весь он, нелепый, в брезентовом пальто

и в пенснэ с трещинкой. И сейчас же вспомнилось, как заметила она на потолке у покойного генерала трещину в виде носа, очень похожего на генеральский. Теперь в ту квартиру переехал детдом, а перед тем был ремонт, значит в комнате и носа уже нет. Поди беготня там, пискотня... И вновь рядом закинутая маленькая кудрявая головка тянется заглянуть в лицо... Да, нужно еще ответить в Крезо. Быстро набросала четким почерком:

„Валерий, я здорова. Прошу тебя больше не писать мне. Это очень тяжело для меня".

И еще приписка:

„Конечно, если бы с Женичкой произошло какое-нибудь большое несчастье, тогда сообщи обязательно".

На кухне опять стучали. На этот раз Аркадий. Вошел и сразу о поразившем, даже слов больше, чем всегда.

— Знаешь, сейчас иду домой и вдруг вижу на углу, у „Софи", стоит Хрущев и просит милостыню. На груди надпись: учитель. Я перешел на другую сторону, чтобы не конфузить его.

Спросила себя: жалко ли, но поняла, что нет, и сказала:

— Он только что был у меня. Что ж, его дела плохи. Сам говорит про себя: res nullius.

Перед глазами протянутый брезентовый рукав, а в ушах жалкий смех и просьба о женитьбе. Таких ли спасать?!

Пошли в столовую. Туда же, рассчитывая на угощение, зашел с молчаливым приветом кот Степан. В разговоре большие перебои.

— А что старики?

Пожала плечами.

— Спят, конечно, ведь поздновато уже.

Внимательно посмотрел на Ольгу и сказал с раздумьем:

— Ничего не поделаешь. Сегодня пускали в ход новую машину. Теперь заработаем на славу.

Малевич быстро ужинал, не обращая внимания на то, что ест, и перебирая в уме все качества и недочеты новой машины.

И вдруг решила подготовить.

— Аркадий, ты знаешь, к весне я кончаю курсы, а потом получу командировку в деревню.

— Надолго?

— Не знаю.

Подпер голову рукой, забравшейся в волосы, помолчал и глухо:

— Скучаешь ты здесь!

— Скучаю, Аркадий. Ведь у тебя дело. А что сейчас у меня? Я живу лишь будущим. Ты ведь его не отнимешь?

И совсем как тогда с мужем о дочери, но только теперь не она, а другой тихо, но так же твердо сказал:

— Нет, Оля, ты права. Будущее, конечно, твое.

Глава VII.

Что зима, что весна — все равно. Теперь порядок один. У „Софи“ на углу. Монотонно и гулко журчит из трубы. Весенняя сырость студит сильней, чем зима. Мимо, в разные стороны — люди. Вместе с ними обрывки фраз, а в ладошку ненужные дающим медяки, и с неба в нее же — снег. Иногда вопрос:

— Чему вы учили? Отчего без места?

— Я на месте, я учу.

И у всех взгляды и слова стертые, холодные медяки. Мимо, мимо, по домам, по делам в тепло, к обеду, к любви...

— Павел, ты?

Это Малевич. Столкнулся нечаянно, не знает, что сказать.

— Как видишь. Стою и думаю: кого это звали Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Старший? Раз Старший, значит был еще и Сципиоша Младшенький, а этот дылда мерзавец, видать, в Африке чего-то бузил. Не помнишь?

— Павел, зачем все это?

— Незачем... так. Ничего, ничего. Иди, брат, своей дорогой, не мешай вспоминать школу. Иди, ну иди! Кстати новость: я пишу мемуары, а комната моя без света, вот я в своем ледяном доме, в темноте... карандашиком... Иногда слова друг на дружку, а иногда и мимо, а в середке у них заглавные буковки.

Возьми вот, передай Ольге Степановне, и иди, иди, ступай.

Машинально взял тетрадку и ушел...

Вечерами вода в трубе журчит слабее, а на стене кино — афишные цветные лоскутки трепещут, как мысли, и рвутся, и с каждым днем их все меньше. Чьи глаза и думы задержатся здесь?

— Степанов, видал такого типа?

— Д-да, экспонатик! Пробу некуда ставить.

Издалека с вокзала в одно и то же время долетают звонки. Аккуратно, в один и тот же час, идут по панели одни и те же люди, а часы напротив все так же каждый день показывают два часа сорок минут, как тогда в Мелитополе...

И вдруг, в сырость и темноту — веселый марш и бодрый шаг. Все равно, если бы этого и не было, все равно, пришло сейчас взмахнуть рукой и, бросив в землю медяки, крикнуть безумное... и еще... и еще... Последний лоскут оторвало, понесло, закружило по снегу и конскому навозу, кто поднимет его?..

Место у трубы освободилось...

Только перед отъездом в деревню Ольга Степановна собралась в больницу к Хрущеву.

Веселый пустой коридор с нетерпением ждет звуков, а их почти нет. Зато, когда услышит, подхватит, поиграет и неохотно отпустит. Дожидайся, когда опять пройдут, заговорят или забренчат посудой. Поэтому радостно подхватил шаги Ольги Степановны.

— Скажите, в какой палате Павел Хрущев?

— А вот прямо и направо, в первую дверь.

По бокам коридора темные неподвижные двери, за ними другие миры, и дальше они от нас, чем те, которые плывут в бесконечном пространстве.

У дверей встретил любезный человек в халате.

— Я вас обязательно проведу, — и галантно пошел впереди, хотя и не знал, кто такой Хрущев и куда нужно вести.

Вокруг одинаковые, безликие, серые, в мягких туфлях, или еще — подушка, голова и одеяло с синей полоской. На одной постели оно прикрывало кого-то с головой. Когда Ольга Степановна прошла мимо, одеяло развернулось, из него быстро высунулась голова и плюнула вслед. Значит, лежал и подглядывал.

Дошла до подушки, на которой знакомое, неподвижное лицо и спокойные, сквозные глаза. Но нет ни брезентового пальто, ни капюшона, и к этому нужно привыкать. Постояла около. Поздороваться? А может забеспокоится только и не ответит? У них свои слова.

Рядом старик священник тычется возле кровати и шепотком, обращаясь к невидимому, как привычную короткую молитву, шепчет:

— Сладенького... сладенького...

Хрущев молчал. Он протянул руку, и ему казалось, что в ладошку опять падает снег и медяки, мимо идут разные люди.

Наверху в окнах, где нет матовых стекол — зелень и солнце, а через стены — усмиренный городской гул.

— Сладенького... сладенького...

Ольга Степановна так ничего и не сказала. Постояла около и пошла. Провожал ее все тот же услужливый. Указав на липовые ветки в верхних стеклах, он сказал мягко и нараспев:

— Tilia cordata.

А затем скороговоркой по секрету:

— Скажите нашим, что мы их скоро освободим.

И отошел.

И опять плюнул вслед прячущийся под одеялом, а скучающий светлый коридор подхватил ее задумчивые шаги.

Дома на столе письмо из Крезо. Мысль, как внезапный удар — Женичка. А за спиной голос:

— Оля, это навсегда?

Оглянулась, стараясь владеть собой. В дверях Малевич. Повторил, указывая на раскрытый чемодан и разложенные рядом на кресле белье и вещи.

— Это навсегда?

Нет колебания, ответ готов. Подошла к нему, в руках письмо.

— Я оставляю здесь вот это нераспечатанное письмо из Крезо. Знаешь, здесь о ней, о дочке, маленькие, дорогие для матери новости. Так вот я не распечатываю его. Пусть ждет моего возвращения.

Малевич слушал и, не моргая, глядел в глаза. Затем, помолчав, сказал просто и тихо:

— Хорошо, я тоже буду ждать.

— Ну вот и отлично.

Опустилась на колени перед чемоданом и быстро стала укладывать в него с кресла белье и вещи. Знала, что Малевич все так же стоит за ее спиной, у двери, и следит за ее движениями. Почувствовала, что нужно сказать еще что-нибудь. Свое, о Женичке — после, наедине с собой.

— Люблю твою речь, Аркадий, скупая она, видно слова твои уходят в думы.

И вдруг обернулась к нему:

— Ну вот, теперь кончается наша физическая близость, но разве это все? Ведь от всего прошлого у меня только ты, да вот еще, — кивнула на конверт, — Женичка. Но она далеко, может забыть меня, наконец... умереть. Нет, конечно, только ты, остальное — сам знаешь. Раньше комната с умирающим генералом, потом эта оберегаемая тобой тишина. Она бережется не для себя, она, я знаю, для кого. — Пусть так. Сам же ты там, в гуле машин, в работе.

Защелкнула чемодан и села на него. Отчетливо до боли вспомнилось: на диване в поезде маленькая в кудряшках голова и песенка про Буденого.

— Ты когда же едешь?

— Завтра. И вот что, не провожай, не надо. Попрощаемся здесь. Ты — на завод, я — на поезд. Хорошо?

Ждала ответа и смотрела на Аркадия, как он, наклонившись, гладит кота, и как кот, приседая, выгибает спину. Наконец, после паузы:

— Ну что ж, попрощаемся здесь. — И подходя к чемодану, предложил:

— Помочь тебе увязать?

— Помоги, вот ремень.

Когда увязывали чемодан, вспомнила:

— А я ведь сейчас была у Хрущева.

— Ну и что?

— Там кончено. Он молчит, потому что сказал все. Спасибо за помощь.

Когда Малевич ушел, тяжело плакала над нераспечатанным письмом и мучилась вопросом: навсегда-ли уезжает отсюда?

Глава VIII.

— Для клопов белые ночи — вещь мучительная, у них глаза болят, а мне и на-руку.

Уверенно сказал и быстро зажевал. Не так-то легко моченый сухарик съесть. Для того нижнюю челюсть нужно высоко подгонять к верхней, и от этого подбородок к носу лезет, а череп мечется под кожей, словно выхода ищет.

Совсем одряхлел дед. Говорит, а слушателей нет: тетка по хозяйству, а внук письмом каким-то занят, не то читает его, не то задумался.

Вчера вечером, в первый день после ее отъезда, долго ходил по кабинету, обдумывал, вспоминал и взвешивал, а сегодня перед уходом на службу решил распечатать и прочесть.

Размашистый почерк.

„Я поражен твоим письмом, даже не письмом, а какой-то запиской. Отчего ты решила отнять у меня последнюю отраду говорить с тобой на бумаге? Признаюсь, я сперва также решил прекратить переписку и долго молчал, но вот, как видишь не выдержал. Гордость в сторону. Пойми, ведь я все же одинок. Дорогая лотова жена, я уверен, что именно с тех пор, как ты обратилась в соляной столб, люди не могут жить без соли и вспоминают тебя каждый день. Здесь у всех русских вынуто нутро, а у вас только оно и осталось. Целого кушанья нет: либо оболочка, либо фарш, косноязычный сказал бы: фарс. Что вернее? Но мне скучно, тяжело и еще раз скучно. И вот я решил, вместо того, чтобы написать тебе, как ты разрешила лишь в случае несчастья с Женичкой, сообщить тебе, что она здорова, весела и помнит мать. За все это ты должна быть мне благодарна и снять свое запрещение.

Твой бывший Лот".

Скучно, когда все молчат. Оттого проглотил наконец сухарик и спросил:

— А когда же вернется твоя жена?

Малевич положил на стол давно прочитанное письмо и ответил, обрывая слова:

— Она больше не вернется.

Отодвинулся от стола, но задержался вставать, отягощенный все той же думой и ожиданьем вопросов.

Так и вышло.

— Не вернется? Это почему?

— Так лучше.

Больше дед не спрашивал и потянулся за новым сухариком, а тетка завозилась с очками и вдруг взволнованно:

— Мешаем мы тебе жить, Аркаша, оттого все...

В памяти промелькнул разговор с Петровым перед отъездом, и Малевич мягко перебил:

— Ну вот... что там... дело не в этом.

И в минутной слабости добавил, утешая себя и стариков:

— А впрочем, может еще и раздумает, вернется.

Почувствовал, что хочет услышать хоть какой-нибудь ответ от них. Но старики молчали...

Когда уходил, услышал из передней, как тетка что-то говорит деду. Остановился и прислушался.

— Так как же, Николай Федорович, позвать человека-то клопов выводить?

— Да, пожалуй, надо. Спасибо. Только сами знаете, теперь ночи белые, они тихие, я могу и с ними...

Вздохнул тяжело и вышел из дому...

ЖДАННОЕ СЛОВО

У солнца и кур — одна повадка: вместе в пыли купаться.

Пухлая она такая, теплая и водой течет через пальцы без остатка.

Кажется, сам бы в ней разлегся! Только и здесь, под навесом, хорошо. Ветер — сквознячком ласковым наведывается, а вокруг — синева, хлеб да зелень. Дыши всем этим без торопливой жадности. Это перед смертью, говорят, не надышишься, а коли здоров — воздуха-то, добра этого здесь на всех хватит. С затяжкой дыши, как хороший турецкий табак. И еще молчи. Даже если кто рядом сидит и говорит, как вот сейчас собеседник мой, забытый Аркадий Михайлович. Пусть себе говорит, перебивать не стоит. А слова его забираются в уши, как в грудь воздух. Труда это никакого не составляет. Впрочем, если не интересно, можно и о другом думать. Только не всерьез, а так, вразброд, о чем придется.

Вон как жаворонки песнями рожь поливают.

В лавочках иногда такие птахи игрушечные продаются. На незаметной ниточке-резиночке мягко так качаются. Вот и эти, живые, с неба на резиночке спущены. Звенят. И сколько их! И чем ближе к

небу притянуты, тем поют задорней и громче. Радостно кому-то дергать ниточки, а кому — отсюда не видать. Подтянет и отпустит... и опять подтянет. Только ниточки тоненькие-претоненькие. Дрожит, звенит жаворонок и вдруг оборвется и бултых камнем в рожь — подавай новую резинку!..

А жаворонкова песня все та же, что сейчас, что вчера, что хотя бы при Батые — простая, в летах неизменная — чем выше, тем зазывней...

Вот, может, когда и кости мои уже истлеют и стану весь прахом — пылью для куриной и солнечной забавы, будет сидеть здесь другой, новый, которому еще не скоро тлеть предназначено. И на коленях у него книга толстенная с золотым обрезом, какой-нибудь там 24-й том. И солнце пробежит по буквам.

Читай, что ли!

И опять побежит по складам:

„Ве-ли-ка-я рус-ская ре-во-лю-ция".

А уж читана она, перечитана от корочки до корочки, а все занятно и все непонятно. Как это, как это так человечину ели, и тело ульем вшивым было, и враждовали люто?

В сытости да в чистоте и согласии всего этого никак не прочувствуешь.

И задумается тот, новый. А тут в самое нутро к нему как бы невзначай начнет ластиться жаворонкова песня, неизменная в летах. И забудется книга... А сквознячковым любопытством, как корявыми пальцами, будут перевертываться зараз по не-

сколько меловых страниц — видать, что чтец нетерпеливый. А на тех страницах такие неповторимые люди, очень твердые люди, а в книжных словах, как в свеже-расколотом черепе, дышит и дымится тревожный мозг их.

Эх, как сейчас оборвалось сразу несколько жаворонковых ниток, а сами они — камнем в рожь!

И вот снова начинают вползать в уши слова забытого собеседника, Аркадия Михайловича тож.

Звание его — бывший деревенский учитель, а теперь — ничего. Просто человек пожилой, добрый, бородатый, в синих очках, с виду умный, а на самом деле так себе. Забыл, что и знал. Сидит это он рядом со мной под навесом амбарным, сладкую травинку-тимофеевку жует и рассказывает. А я слушаю.

„...Ведь вот умный был человек Василий Петрович, начитанный и, можно сказать, на глазах вырос, а вот поди ж ты — погиб. И совсем ни к чему. А собой был очень интересный мужчина и растительностью обладал в высшей мере. Это уж вместе с зыком унаследовал он от батьки. Тот, по-моему, как бы с Авессаломом сходство имел.

„Был отец из диаконов и дошел до протоиерейного сана. Только в скорости, по неизвестной причине, стал невоздержан к вину. Вас тогда уже не было — уехали. Поверите ли — вспомнить жутко! Пил он как рыба — прямо-таки до остервенения. И любопытная была у него манера. Пил он только у себя на дому в одиночку и как выпьет, так сей-

час это начинал возглашать многолетие. А как дойдет до самой высокой ноты, то словно серчает, и ну — в окошки мебель вышвыривать! Жил же он, как вам известно, во втором этаже в доме, что супротив церкви. Место людное, и соблазну много. Приезжий какой пойдет на благолепие в церкви полюбопытствовать, и вдруг с неба в роде как рев носорогов:

„Мно-о-о-о-гая ле-т-т-т-а".

И сейчас это — ба-бах стулом или чем другим в окно. Просто пугал всех, особенно женщин, которые при интересе. Бывали даже преждевременные случаи.

„И что, вы думаете, этаким манером поет до тех пор, пока весь гарнитур не перекидает. Что с таким делать? Расход и на стекольщика и на столяра. Урон — как от пожара и притом раз в неделю обязательно. Просто семейное бедствие, и все тут. Все же семья, в конце концов, приноровилась. Вот как это он заходит по комнате да заговорит сам с собой об твердости в вере, — это конек его такой любимый был, — так, значит, приспело. И уже у дверей стоят и слушают. Чуть что, сейчас матушка — рыхлая такая женщина — трясется к сыну в комнату:

— Вася, многолетие.

„И тотчас же начинают выносить в садик все движимое.

„Сдается мне, что отсюда у Васи-то, у сына-то, расторопность и сообразительность в натуре укрепились. Привык, знаете ли, действовать по плану,

что после чего и как. Ценное и бьющее — раньше, затем — прочее. И знал как все это в садике ставить, на каком расстоянии от дома, чтоб от многолетий с полетами не пострадало.

„Отец же Петр, как видел, что кидать больше нечего, тотчас же стихал и спать заваливался.

„Да, если бы не это многолетие, был бы он батька, как теперь говорится, „что надо". Если бы вы только послушали проповеди какие завинчивал — за сердце очень убедительно хватал и всех прошибал.

„Ивана Милягу, может, помните? — утонул еще потом. Не помните? ну что вы?.. Еще вот когда напивался, то как-то по-особому ртом чмокал, будто зуб сосал, и рука у него левая ходенём ходила. Страшный человек был, что и говорить, — чистокровный разбойник. Он на перевозе людей грабил и топил. Купчиху Марьину, например. И вот однажды призвал его к себе отец Петр, поговорил с ним и прошиб его словом. С той поры поклялся Миляга.

— Может, — говорит, — кого чужого еще и пограблю, а чтобы своего, да по мокрому делу, — а ни-ни.

„И точно вышло, как поклялся, — только пить еще больше стал и в скорости утоп. И таких обращений немало было. Край наш разбойный — жаловаться не на что. Вот какой батька-то наш был! И как это выходит, что вино одинаково любит и злобство и добросердечие?

„И звали мы его, нашего батьку, — праведный грешник: и бессребреник-то и наставник, а уж насчет твердости в вере — просто морская скала. Если бы скалу эту самую вино не подтачивало, лучшего попа и не сыщешь, никогда не сыщешь. Бывало, отучишь ребят в школе и пойдешь к отцу Петру посидеть и пообедать. Вот, как садимся за стол, он и скажет:

— Ну, не то оскверняет человека, что входит в уста, а то, что из уст: дай-ка сюда, Васятка, графинчик, выпьем, Аркадий Михайлович.

„Пьет, пьет, а потом и начнет:

— Одного лишь хочу, скажет, чтобы мучительство за веру обрести; оттого и пью, что не удается. Знаю, что в вере тверд и никакие силы адовы меня потрясти не смогут, недаром крещен Петром, что есть камень.

И всегда припомнит — раз в семинарии у них один оболтус усомнился, как это кит мог Иону проглотить, потому горло у кита, вишь ты, очень маленькое. А наставник-то их, старичок мудрый, и разъяснил:

„Маловерный, — сказал он, — если бы мне поведали, что не кит проглотил Иону, а Иона кита, так и то не усомнился бы ни на секунду.

— Такой вот и я, скажет, и руку в свое волосяное царство запустит. — Горю весь, хочу пострадать и даже во сне иной раз вижу, как в огне пылаю и псалмы пою. Жена говорит, что от вина, а я не согласен.

И отчего это теперь гонения на церковь нет? Я бы доказал. А что бабы, которые из-за меня преждевременно... так ведь я с таких за таинство крещения ничего не беру и знаю, что многие им даже завидуют и нарочно многолетие мое ходят под окна слушать, чтобы испугаться.

„Сам, значит, чувствовал свои слабости, однако объяснял их: будто кажется ему, что воюет с еретиками и побеждает словом и делом.

Да... так вот они и жили. Матушка всегда была настороже, а сынишка Вася был у них задумчивый, худенький, к тому же заикался и читал много. И звал его отец макаронной дыркой. Все же видать было, что мозги у него на месте и все в порядке.

„И вот как-то обнаружилось, что Васятка сочинительством занялся. Матушка разбирала как-то его столик и нашла две исписанные тетради. Она их к отцу и отнеси. Тот ознакомился и зовет к себе сына. Помню, тут же мать сидит и рекой разливается.

— Это что такое будет? — спрашивает и на тетрадку показывает.

— Р-р-рассказы.

— Чьи?

— М-м-ои.

— А это что? — берет другую тетрадку.

— Стихи.

— Чьи?

— Тоже м-мои.

— Ну, так вот что, слушай ты, макаронная дырка, как отец говорю — брось, потому в этом одна гордыня и мысленный блуд. У тебя же и этого нет, а одни только фитюлькины ходули.

„И наложил на него отец единовременную эпитимию в сто пятьдесят земных поклонов, а на будущее установил норму: за обнаруженный рассказ — без обеда и тридцать земных поклонов, а за стихи — порка. Впрочем, последнее сказано было только для устрашения. Однако, Васятка-то упористый оказался, голодает, а все свое, голодает, а все свое.

„Мать слезами умывалась. И то сказать: было одно горе — многолетие, с ним уж кое-как пообтерпелись, а теперь вот еще и новое — сочинительство. Известное дело, от него всякие мысли в голове бродят, и все больше вредные. — Так оно впоследствии и вышло.

„Однако, батя был добрый человек. Увидел он, что нормы не помогают, и надумал: призвал к себе сына и говорит, что говорит — об этом мне сам Вася потом рассказывал.

— Вот что, Василий, жалко мне смотреть, как ты отощал; однако, ты уже немаленький, и по себе знаю, сколь сладко во что-нибудь верить. Выходит, что наказание тебе сладостно.— Вот я, например, — пьяница, в роде Ноя, но хуже, потому что с уклоном к запою. Однако, если бы меня от вина отрешили, а потом, спустя некое время, когда взалкал бы, спросили: „Петр, хочешь водки?“ — и шкалик на стол... — по-

тянулся бы и сказал: „Хочу". — „А ты отрекись". — Так я глаза бы себе вырвал да в шкалик и положил бы — накось, выкуси! Да что говорить, знаешь ты меня. А речь свою веду вот к чему. Скажи мне, братец, убежден ли ты, что дело делаешь и тайну какую-то свершаешь, в роде как я за обедней? Если уверен, — добро тебе, и знаю тогда, что сочинительства не вышибу из головы, потому кровь у нас одна.

„А Васятка-то, сын-то, заикается, а отвечает:

— Этто в-в-ерно. Н-н-и г-голода, ни др-р-у-гго-го чего н-н-е ббоюсь, н-н-о все же ннельзя ли, ппап-па, и з-за стихи т-тоже т-только б-без обе-еда.

„Ну, поп махнул рукой, простил и писать разрешил, а сам после этого беспредельно многолетием занялся.

„И попутал его тяжкий грех. Вышел это он в воскресный день к народу с чашей, покачнулся и дары на пол опрокинул. Все, кто был в церкви, словно вздохнули сразу и очень перепугались, даже кашлять перестали — вот до чего. А отец Петр сразу протрезвел, ушел в ризницу, снял облачение и тихо так домой поплелся.

„Здесь пришел конец нашему грешному праведнику. Приехали какие-то, судили да рядили. То место на полу каленым железом выжигали. Конечно, уж с батей нашим, наверное, не поцеремонились бы и по крайней мере отрешили и сослали бы в заточение.

„Жалели мы его очень. Только принял он в ту пору кончину необычную и даже как бы не по-хри-

стиански. Забодал его просвирнин козел — Кузька. Старый и страшно злой был козел и притом чересчур духовитый. Так вот он и не допустил до христианского обряда. И ведь как странно. То всегда батька пил у себя на дому, а то вдруг пойди вниз на улицу да и встань там на четвереньки. Косматый такой, с бородой до земли и в сером подряснике. А навстречу Кузька. Что уж ему, Кузьке-то, представилось — не знаю, но как увидел, возмутился очень, разбежался да со всего маха и вдарь в протоиерейный бок, — аж что-то вякнуло, а после и начал топтать и начал топтать. Много ли старику нужно? Пока прибежали да вытащили, видать было, что не выживет. Только и сказал пыльным ртом:

— Какая вонючая смерть.

„И скорбя с тем и умер. Вася был тут же".

„Говорит дальше Аркадий Михайлович, но я опять не слышу его, и нет уже спокойствия, потому что о тебе сейчас вся моя дума, и для тебя мои крылья, протоиерей пьяненький... И теперь всегда, когда оборвется в небе тоненькая ниточка, буду вспоминать тебя, тоскующего о делах нечеловечьих и лежащего в пыли деревенской, черной от крови и муки твоей. Слышу, как цокают пьяные губы Ивана Миляги, вижу, как ходенём ходит рука его речного душегубца, одного из усмиренных нехитрым словом твоим. Мир тебе и цветы...

— Аркадий Михайлович, вот вы все об отце Петре вспоминаете, а начали-то с сынка его, Васи-

лия Петровича. Еще говорили, что погиб ни к чему. Припомните-ка, — вот, значит, с вас и причитается рассказ о Васе.

Поправляет очки Аркадий Михайлович.

„Нет, какже, какже, помню, очень хорошо помню, память-то у меня еще, слава богу, не вся закисла, не поймаете.

„Раньше, когда приходилось ребят учить, — тоже вот так урок закруглять было надо. С чего начнешь, тем и кончишь. Это первое правило. Иначе толка не будет.

„Так вот Вася-то и рос у меня на глазах, и грамоте у меня учился, и был он, как видите, послушный и тихий. Знал я, конечно, что и стихи пишет — приходил, их мне показывал. Только что ж я-то? Стишки как стишки: о солнце там или речке. Ничего себе стишки — тоже тихие, как и сам он,— дело, конечно, пустое.

„Но хотя заикался, а читал их трогательно. Даже удивительно: если запнется — выходит, словно так и надо. И слово от этого как-то крепче делается. А сам он словно силился сказать в них что-то особенное.

„Все, говорит, хочу, Аркадий Михайлович, слова найти такие, чтобы за живое взяло и вас, и всех, чтобы вот вместо слов само солнце в них сверкнуло, или чтобы вот речка зажурчала. Как это сделать, Аркадий Михайлович?

„А я что? В словах не богат — простые у меня все слова, как скамейка, на которой мы с вами сей-

час сидим. Ты бы, говорю, Вася, с кем-нибудь серьезным посоветовался.

— Нет здесь таких, Аркадий Михайлович.

„И станет таким грустным, что даже жалко его.

„Так вот и рос Вася, и вырос, и женился. Учительница тут, которая меня сменила. Веселая такая девушка, обходительная и с лица ничего. Только вот книжки раздавала крестьянам насчет земли и прочего. Мне одна попалась — так я ее при закрытых ставнях прочитал и в огонь бросил: боюсь я этого. А потом и говорю Васе.

— Ну, брат, и нашел ты в лесу леса — мало ли у нас девиц, а эта хоть и приятная, а все же с изъянцем, и попомни меня — могут быть тяжелые семейные последствия в политическом отношении.

„Куды там! И высказал здесь Вася огромное упорство, в роде как тогда с сочинительством. Нечего делать, повенчали их. А власти словно того и ждали: в самый медовый месяц забрали их обоих и увезли. Только и видели. Мать васина вскоре после того умерла с горя, а может и с голода...

„В ту пору события тяжеловесные разгрохотались! Пронеслись и по нашим местам и многих захватили с собой — больше все в места злачные, в места покойные. Пришли новые, а старые, которые сохранились, как вот я, сидели и глазами только хлопали, что совы на дневной свет. Потом их родные поставили в различные очереди и, кроме того, заставили выбирать. И кого только мы на старости лет ни вы-

бирали! И вместе, и порознь, только все больше неизвестных. Потом голодали, хлебец ели в роде молодого ежа, но без пользы, и очень об соли скучали. А теперь вот вспоминаем всякое, что еще в памяти сохранилось.

„Вот однажды иду я ордер на что-то брать, смотрю, — что такое? Сидит за столом Вася и не Вася — весь кожаный, и револьвер сбоку; видать — деляга и распоряжается по порядку. Увидел меня, обрадовался, как родному, и пообещал:

— Я к вам обязательно, Аркадий Михайлович, приду чай пить:

„И точно — пришел. Потом надо мной соседи долго смеялись.

— Аркадий-то Михайлович с коммунарами якшается, поди и сам в партию заявляет.

„А какой Вася для меня коммунар? Даже не Василий Петрович, а просто Вася-заика, макаронная дырка — и все тут.

— Ну как стихи? — спрашиваю.

„Рукой махнул.:

— И стихи, и жену, и многое другое забыл — работы много, не до того — новую жизнь строим, другие мысли.

„И понял я из разговоровс ним, что коммунист он правдивый, не маргариновый, потому так выходило, что вступал он в партию, когда опасность ей угрожала, а как партия крепла, так ссорился и уходил из нее.

— А что, разве и сейчас есть опасность? — осторожно так спрашиваю.

„Но он сразу уклонился.

— А когда ее нет...

„А все же чудной стал Васятка, говорит — глазами блещет, руками машет, только куртка новенькая, кожаная мягко так поскрипывает. Заикаться стал меньше и вообще как-то весь вырос, пополнел и на отца походить стал и голосом и растительностью. Что и говорить — привлекательный был мужчина.

„Вот это он рассказывает, а сам ищет, обо что бы папиросу зажечь; увидел лампаду, потянулся и закурил.

„Я промолчал, конечно, а после потихонечку лампадку и задул. Через некоторое время снова оглянулся Вася, ничего не сказал, но видать было — сообразил.

— А что, спрашиваю, слов теперь тебе не занимать стать? Нашел, какие нужно?

„Замахал руками:

— Ах, что вы, Аркадий Михайлович, разве это найдешь? Теперь больше, чем когда-либо, это чувствую. Бывает, приходится речь говорить, — так вот и кажется, что сейчас скажешь какое-то особое слова, и все объяснится, и всех зажжет, а вместо этого такие удобные слова подвертываются, иногда поближе к сути, иногда дальше, а все не то, не то. А ведь есть такие слова, Аркадий Михайлович?

— Кто их знает, может и есть!

„Принес он тогда с собой спиртику, больше чтоб меня побаловать, и просидели мы с ним почитай что всю ночь.

„К утру прощается, усмехнулся так и говорит:

— А помнишь многолетие?

„И сам вдруг против своей воли серьезный сделался, а я даже вздрогнул. Так вот и встал предо мною о. Петр.

„И неловко мне стало хмельному да с коммунистом о покойном его отце говорить. Ведь все же как-никак, а священнослужитель был.

„И он это понял.

— Так вот, Аркадий Михайлович, — задумчиво так проговорил, — есть такие слова, — понурился и пошел.

„И не знал я, что сидел с ним за одним столом в последний раз. Потому к утру вдруг ясно стало, что белые близко, и утекать надо. И стали утекать. Суетня, как полагается. Скачут, везут чего-то на возах, как будто и лишнее, например, фигуру — мраморную из помещичьего сада, а на ней красный бант. Ну, к чему это?

„Мотор даже откуда-то появился, фырчал и мотался по нашей пыли, она, сердечная, кроме телег да лаптей ничего до сей поры и не видывала.

„С вечера затрещали, застукали. Потом все затихло, а на другое утро пожалуйте — новая власть.

„Я как вышел на улицу, так сейчас же меня казак остановил и пограбил маленько.

И стали белые ловить красных. А еще вчера было наоборот. Жуткие это пятнашки! Кого запятнают, тот больше не игрок!

„Прохожу я в тот же вечер недалеко отсюда, где мы сидим, и вижу, люди копошатся и мастерят что-то. Постоял, посмотрел и понял. Даже в спину жуть ударила, — не иначе как виселицы ставят. Мне всегда раньше думалось, что они, виселицы, в роде гимнастики, которая в школе, — так там здоровые столбы, а тут, оказалось, жердочки.

— Зачем это? — полюбопытствовал.

— Завтра коммунистов вешать будут, — приходи, борода, смотреть!

„И точно, к утру уже все знали, что вешать будут, и народу навалило, словно масла обещались выдавать по дополнительному купону.

„Пошел и я, хотя и не по-себе как-то было, и знакомых все сторонился. Запоздал немного и пришел к самому началу, потому уже привезли их. Кругом казаки, и народ кольцом твердым. Тихо так все стоят, словно тогда, когда о. Петр дары опрокинул.

„Всего трое. Один все в сложенные ладошки дул, словно на морозе. А день был как сегодня. Другой же краюшку грыз и глазами шнырял, видать, с жизнью еще не простился и удрать надеялся. И вдруг закричал один казак: „Держи, убегёть“.

„А он под руки казаков да в толпу, только куда же — разве расступятся?

„Немножко позапыхались и привели назад. Тут

сразу все заговорили, и как-то легче стало. Этого первым и вздернули. И вдруг, — как в глаза что ударило — третий-то Вася! Стоит и прямо на меня смотрит, словно сказать что хочет. Даже руками взмахнул, но понял я, что ничего он не видит, кроме чего-то своего.

„Когда накладывали на Василия Петровича петлю, он хотел что-то крикнуть и повис — видать, ловкий палач попался.

„Да вот еще из толпы мужчина какой-то подошел, повертел труп на веревке и звонко так ударил по щеке, — видно, счеты какие-то сводил, и сейчас же кто-то крикнул.

— „Не надо!“

„Потом пошли по домам чай пить: в эти часы у нас всегда чай пьют; хоть и умаленье сахарное, а все же. Так уж заведено. Пойду и я сейчас, а то старуха моя браниться будет, что самовар остыл. Может, вместе пойдем?“

Встали и пошли, но уже молчали...

Вот где-то здесь близко вешали Васю. И никто не скажет, что мерещилось ему в эти исходные минуты. Отец ли, распятый на дороге со скорбными, пыльными губами, и там, в небе, жаворонки, звенящие неизменную в летах песню, чем выше, тем зазывней, а может пришло к нему, наконец, жданное, страшное, испепеляющее слово, и хотел его радостно крикнуть всем, но не успел и высунул людям мертвый язык свой.

БОЯЗНЬ ПРОСТРАНСТВА

Тш-ш-ш-ш.

Тишина в ушах шипит. Начальство на заседании, дела нет, сиди и размешивай в носу пальцем. Из углов пасюки пошли. Подлый зверь. И зачем такая тварь понадобилась? Близорукость и необдуманность творившего.

Говорят, они часового у калашниковских амбаров поглотили. Шли на водопой, а он испугайся да и стрельни от душевного потрясения. Так они его вместе с ружьем, без остатка. Шутили потом, будто от военной службы удрал. Хороши шуточки! Да, не ценили людей царские сатрапы, не ценили, потешались, вот и их тоже, без остатка, как часового. Пожалуй, к лучшему.

Еще один вылез, напротив уселся. Здрасте, только вас здесь и нехватало! А и здоровый же, без малого целый кот. Эх, если бы незаметно взять палку да палкой по ноздре. Не сиди, не нюхай нахально! Наверно ты и мандат у меня вылущил? Обжора. Только печать и оставил — должно, ядовитая. А то еще утром в столе, что такое? Кость обдрипанная. Их дело. Батюшки, этак ведь они и ноты мои сожрут!

В письменном столе глянцевитые произведения. На них любовный взгляд. Музыка на стихи того же автора для всех случаев жизни. Заглядеться можно! „Под кустом я сижу одиноко“, „Исполаэти деспота“ и прочие. Очень помогает, если, например, в дар подносить с учинением надписей: „Искре божией от робкого созерцателя“.

Или гуще: „Любимому и незабвенному титану на память об ничтожестве“.

Недавно начальство новое прибыло, еще на вокзале поднес:

„Я ждал тебя“.

Поразилось и благодарило.

А ведь если так, по простоте, кто взглянет, нипочем не догадается, что поэт и композитор. Скорее даже пойнтер старый: и щеки отвислые, и шишка на голове, а в глазах преданность. Из волос же только усы. При ходьбе к стене прибивает. Иной раз спросит кто:

— Чего это вы, Матвей Карпович, как муха по стенке движетесь?

Не прерывая хода, разъяснит с достоинством:

— Боязнь пространства, давно хвораю.

— И пройдет.

Перед тем как к начальству войти, манишку, редкость этакую, перед зеркалом выправит, а затем приотворит дверь и пенснэ на разведку пустит. Коли махнут — тогда по стенке, быстро, быстро, к начальственному уху и прорыдает тихо:

— Папочку вот принес... на подпись...

И тотчас же обратно, задом на дверь.

Испытанный прием — почтительность — превозможет всякое. Недаром и кличку приобрел — Тишайший.

Еще начальство прошлое, царство ему небесное, внушало:

— Запомни, Матвей Карпович, что такое секретарь. Это ласковый человек, торгующий именем своего начальника.

И потом еще:

Запомни, Матвей Карпович, никогда не делай такого, что нельзя было бы стереть.

Запомни. На „ты“ иногда ласкал дорогой покойник для интимности, а какой размах был! Недавно расстреляли.

И ведь как мельчают люди. Взять хотя бы новое начальство. Сразу видать — гибель культуры. К нотам безразлично, само как лед, а к работе люто. Служащие прозвали бумажным тигром, а в общем одобрять начинают. Роковая наивность с их стороны — не больше. Вчера повел губой в сторону и цедит:

— Вы бы, товарищ Алютин, входили как человек, а то неловко даже, будто в Скинию Завета без разрешения. Вы попроще.

— А как попроще? Очень трудно попроще-то. Теперь на дверях надпись крупная:

— Входи смело.

Ясно, что бессердечный человек.

Тш-ш-ш-ш!

Пасюки зверь чуткий, насторожились вдруг — и по дыркам. А в дверях сам.

— Здравствуйте, товарищ Алютин.

Взметнулся из-за стола, но вспомнил: „вы бы попроще“ и обратно втянулся. Только и произнес с достоинством:

— Чем могу служить? — И ящик с нотами задвинул.

А сам уже из кресла сквозь зубы цедит:

— Нам слуг не надо, не на себя работаем. Два дела к вам. Первое — прошу вас впредь не распоряжаться от моего имени, а второе — сообщите по отделам об обязательной прививке оспы по алфавиту, завтра придет доктор.

Сразу два удара. Хоть первый и тяжелый, а перед вторым — ничто. Едва произнес: слушаю-с, а потом с надеждой робкой:

— Может позволите сообщить, что можно и через рубашку? И взглянул преданно. Да что, гляди не гляди, все одно, эдакого глазом не прошибешь. Знай себе цедит, как пиво.

— То-есть, что это через рубашку?

— Да вот прививку-то. Все же холодновато, к тому же женские скромности и прочее.

Прервал сухо:

— Ну что вы городите! Кто ж это оспу через рубашку прививать станет? Ерунда! Так вот объявите.

И вышел.

А на каблуках резиновые набойки. Практично и мягко для спинного мозга, надо бы себе такие же. Ну и человек, мустанг необузданный! Но боже мой, боже мой, напасть какая! Вот уж не знаешь, где споткнешься. На какой-то прививке. Завтра рубашку пожалуйте прочь, а как грудь обнаружится, так и конец.

И заметался по комнате, как пасюк. Потом вдруг дверь на ключ — и к зеркалу. Пиджак долой, жилетку тоже, левую подтяжку назад отмахнул и рукав с плеча. Отразилось все то же и на том же месте. Знакомо. Под сердцем цветной портрет улыбающегося самодержца всея России и притом по всем правилам татуировки, навеки веков, аминь. Осторожно потрогал рукой, как только что заболевшее место.

— Завтра по алфавиту... Алютин... никуда не денешься. Погубят в единочасье и ноты конфискуют...

И задумался горько, разглядывая портрет. Самодержец улыбался.

— Ну кто, кто мог бы подумать, что дрогнут устои? Слово-то какое? Устои! Обеспеченная навсегда неподвижность и вдруг — мыльный пузырь! Нет, нет, сгубили себя и всех, а теперь вот и меня... Развел с печалью руками, одной в рубашке, другой так, и стал одеваться.

По отделам бродил по стенке смертником, объявлял о прививке, как о конце мира, а в одном

делопроизводстве ошибся и даже, показалось, внес подозрение. Сорвалось как-то неожиданно:

— Завтра татуировка, — и голос дрогнул.

— Что такое? — остановились костяшки на соседних счетах.

Спохватился и успокоил галантно:

— Не бойтесь, это всего только шутка и аллегория, на самом деле один прокол оспенный и то по алфавиту. — И еще тоном администратора: — Не бойтесь, картинок на коже делать не будем. — Сказал и почувствовал на груди под сердцем портрет. Смотрит самодержец через рубашку и жилетку на свет советский и улыбается. Прикрыл его сверху рукой.

— Ах, прививка, а я думала действительно татуировка, — и наклонилась с интимностью. — Знаете, мосье Алютин, ведь с них всего станет. Конечно, какую угодно картинку и на каком угодно месте прикажут, наколем и краску вотрем. Ах, это смех сквозь слезы, терпеть надо, злее будем. Ведь так, мосье Алютин?

Кивнул ей головой, чтобы отвязаться, а сам глазами всех испытал, не заподозрил ли кто-нибудь неладное насчет татуировки.

Когда домой собирался, опять припомнились слова дорогого начальника:

„Никогда не делай такого, что нельзя было бы стереть".

И прошептал, надевая высокие галоши:

— Да, царство небесное, умница был, все предвидел, а какой размах!

Галоши одевались туго. И вдруг осенило.

Так вот же, остался еще один советчик и друг — Андрей Семенович, он подскажет, в чем спасение, только бы дома застать.

И уже на лестнице закладывал шарф и застегивал пальто.

Чорт с вами, улыбайтесь, дорогие читатели! Вам-то что? Для вас это всего шуточка — не больше. У вас под сердцем нет никаких наружных неприятностей. Вот вам и смешно. А что заговорили бы, если у вас было то же? Здесь же трагическая завязка, в основе которой лежит юношеское легкомыслие и роковое знакомство с китайцем, живущим и по сейчас в том же доме на Ждановке, где квартирует и Матвей Карпович.

Некогда, за недорогую плату, этот китаец искусно раздраконил под левым соском Тишайшего несмываемый портрет. К такому поступку имелись несомненные и беспроигрышные соображения.

Да и кто знал, что революция, родившая свободу, лишит Матвея Карповича, и притом навсегда, любимого банного удовольствия? А ведь всего только хотелось ради задора обозначить даже в бане свои верноподданнические чувства, ибо, как известно, в предбаннике остается все, что сеет и обостряет классовую вражду.

Иной раз спрашивал банщик:

„Дозволите и их умыть?“

И всем соседям было ясно, о ком идет речь. Матвей же Карпович или снисходительно кивал или же говорил:

— Дерзай.

И подставлял левую грудь, а банщик осторожно мылил.

Однажды, как сейчас помнится, подошел с другого конца бани человек с большими жировыми отложениями, постучал двумя пальцами по голому плечу Матвея Карповича и сказал одобрительным басом:

„Радейте и впредь, молодой человек. Побольше бы таких, как вы!“

На что лысый молодой человек, почувствовав, с кем имеет дело, ответил, из почтительности прикрывая рукой некоторые части:

„Поражен, что даже сквозь банный пар проникает государственная зоркость вашего высокопревосходительства.“

И точно, не ошибся в титуле. Впоследствии оказалось, что подходил ни много ни мало — тайный советник.

С тех пор охотно допускал он Матвея Карповича париться по близости от себя и отмечал беседой.

Кроме банных утех, любило еще его высокопревосходительство канареек, обученных петь под дудочку, о чем как-то проговорилось, и однажды было премного обрадовано поднесением в предбаннике клетки, в которой сидел отменный кенарь.

В клетку была вплетена записочка, а на ней значилось:

„Прими, вельможа, в дар любимца и певца Авроры.

Егоровские бани, января 19-го дня 1917 года".

— Дозвольте донесу, — предложил Матвей Карпович и, приняв клетку, в целости доставил ее до квартиры.

Отсюда благоволение и дальнейшая снисходительность его высокопревосходительства и по сие время. К нему-то сейчас и поспешал Матвей Карпович, так как революция на этот раз пошутила, и тайный советник уцелел, не иначе, как по недосмотру.

То, что он посоветовал Матвею Карповичу, было поистине изумительно.

— А что, обидчик твой жив?— спросил он угрюмо.

— То-есть кто это?

— Да специалист-то по накожным, китаец-то твой?

— Ах, как же, как же! Что ему делается? Китайцы, сами знаете, народ живучий, не мы с вами. Все пережил, паршивец. Теперь до того обнаглел со своими трещотками, что, как увидит меня, хихикает и на грудь кивает.

— Так вот заставь его, подлеца, лик переделать.

У Матвея Карповича от умственного напряжения сразу запотела вся голова.

— Извините, Андрей Семенович, я что-то плохо понимаю вас.

— Чего тут понимать? Вознагради и предложи

отпустить бородищу, как у Маркса, или очки, как у Калинина, ну, конечно, подровнять там кое-что, и дело в шляпе. Тебе все равно деваться некуда. Плохо, конечно, если, например, реставрация: больше уж не переделаешь, придется по цензурным условиям либо зачернить все, либо грудь вырезать.

Сказал, словно осенил. Восторг и преклонение. Вот что значит государственный муж! От радости можно даже всхлипнуть.

— Ну как не сказать, Андрей Семенович, что мыслитель вы и воистину тайный советник! Как благодарить мне вас?

Усмехнулось его высокопревосходительство и сказало:

— Ну что там! Вижу, что догадки в тебе мало, размаху нет, заела тебя твоя боязнь пространства. Лечишься?

— Леченью не поддаюсь.

— Сожалею. Но вот что скажу тебе, братец, по дружбе, откровенно скажу: не приноси ты мне, пожалуйста, этих нот своих, осточертели, ни к чему они. Петь я не пою, на то кенарь твой существует, да и не время теперь для сольного пения.

Тут Андрей Семенович протянул руку и сказав,— слышишь? — прекратил разговор.

На окне заверещал кенарь.

Матвей Карпович делал вид, что тоже слушает, но на самом деле был в смятении. До сих пор никто так не говорил, все только благода-

рили и хвалили, и вдруг такое откровение и от кого?

Кенарь верещал. То ли припомнилась ему последняя жена, то ли разглядел он, наконец, картину, на которой резвились нимфы, и теперь, уставившись на них одним глазком, торопился поделиться своими впечатлениями. Картина висела недалеко от клетки под железною трубой и прикрывала собой черные следы времянкиных слез. Матвей Карпович не видел и не слышал всего этого. Есть больные места, которых лучше никогда не трогать. Стоит ли, например, говорить отцу невесты, что она уродлива? Запомнится навсегда ненужная никому обида, только и всего. А хозяин дождался, когда кенарь неожиданно остановился и продолжал:

— Да и скажи по совести, ну какой ты композитор! Скажем прямо: кенарь насвистанный. Так? Стоит ли тебе с птицей тягаться? К тому же обложки у тебя какие-то нелойяльные — „Исполаэти деспота", ну что это? Неровен час, увидят, истолкуют по-своему, припомнят все и повлекут.

Слова Андрея Семеновича проскакивали через улыбающегося самодержца и до крови ущемляли тишайшее сердце.

Тут опять заверещал кенарь, и Матвей Карпович встал.

— Я приносил вам, — начал он, — но был знаком остановлен и смолк.

— Тс-с, помолчи!

Слушал стоя, и когда кенарь так же внезапно, как начал, оборвал свое пение, повторил:

— Я приносил вам, ваше высокопревосходительство, самое драгоценное, так сказать, музыку моей души, не обессудьте. Сам знаю, что талантом не велик, однако, имею отзывы.

Попрощался с горечью и вышел, решив про себя: „Прощай навсегда, бывший советчик и друг, больше к тебе не ходок".

Поздно вечером китаец сделал все, что надо. Распустил по груди Тишайшего буйную бороду, лопотал шанго и еще что-то. Матвей Карпович даже не посмотрел.

Шанго так шанго, если и обновляюсь, то только ради семьи, чтоб не осиротела. „Эх, Андрей Семенович, Андрей Семенович! Растоптал ты самое дорогое, вырвал козырь жизни и не приметил. Так-таки и сказал запросто: „больше не приноси" и все тут. Неужто же на самом деле так плохо? Ах все они такие бессердечные, царские сатрапы!

Повидимому, Карл Маркс начинал действовать.

В эту ночь от обиды даже спалось плохо, а на прививку пошел с безразличием. Когда у доктора стал раздеваться, тот изумился.

— Стойте, батенька, чего вы? Это ведь вам не баня! Рукáв, батенька, задернете кверху, и вся недолгà.

Когда уколы были сделаны, спросил у доктора, разглядывая желтое застиранное пятно на его халате:

— Только и всего?

— А вы что, батенька, думали? Кость здесь, что ли, распиливать будут? Пожалуйста, следующий.

И хотя доктор уже не слушал, сказал ему в спину:

— Нет, я ничего не думал... я так... благодарю вас.

И пошел прочь.

— Эх, знать бы, да ведать, все осталось бы по-старому: и дружба, и композиторство, и портрет.

По коридору тянуло эфиром.

В этот день, как бы невзначай, бросил нескольким сослуживцам:

— Ухожу в партию.

На что один съязвил:

— Чего ж у вас такие печальные нотки, будто из мира в монастырь уединяетесь?

При слове „нотки“ съежился и почувствовал жалость к себе.

Другой же задиристый юноша поддразнил:

— Куда вам? У вас боязнь пространства, с такой болезнью в партию не принимают!

Захотелось утереть нос мальчишке и шепнул таинственно:

— Ну-те-ка, заприте-ка на минутку дверь.

Когда полюбопытствовали и заперли, скинул рубашку и предложил:

— Взгляните-ка, молодой человек, что это такое?

Тот взглянул и сказал с усмешкой:

— Не знаю.

Эх, развихлялась нынче молодежь, нахалит! — То есть как это так, не знаю? Стыдно вам своих вождей не знать.

— А очень просто — не знаю и все тут. Ежели вы на Карла Маркса намекаете, так виданное ли это дело, чтобы носил он шапку стрелков его величества и еще улыбался при этом?

Матвей Карпович не проверил сказанного, быстро оделся, подошел к двери и долго возился с ключем. Наконец, не оборачиваясь, попросил беспомощно:

— Выпустите же меня.

Когда брел по стенке к себе, остановился вдруг, плюнул с чувством и сказал неизвестно про кого и зачем:

— Пасюки!

Все же, на всякий случай, оглянулся и сердечно обрадовался, что в коридоре никого нет. Здесь ни с того ни с сего пришли на ум слова Андрея Семеновича:

„Вот и дело в шляпе, тебе все равно деваться некуда".

И впервые за всю жизнь осмелел до крайности и еще раз оглянувшись подумал вслух:

— Действительно в шляпе. Чтоб у тебя канарейка сдохла!

Все же спохватился и добавил по статуту, но жалобно:

— Ваше высокопревосходительство.

В кабинете пасюков распугал. Оказалось, что

разъели они в эту ночь „Исполаэти деспота“, махнул рукой, пусть грызут, и, желая задвинуть ящик с нотами, пхнул в него ногой.

Вот, кажется, и все. Впрочем можно добавить, что недавно ходил я к Матвею Карповичу на Ждановку и не нашел. Исчез он. Не иначе как окончательно запугало его пространство.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Большие Пузырьки	3
Расстроенная личность	67
Обмен веществ	81
Гражданин вода	93
Четвертое	127
Водоросли	143
Жданное слово	193
Боязнь пространства	213

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

О. САВИЧ

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Рассказы

Стр. 235. Ц. 1 р. 30 к.

В книгу входят 12 рассказов: Короткое замыкание. Свадьба Егора Дедюлина. Никитин день. Иностранец из № 17. Конокрады. Жизнь разговаривает шопотком. Васька-Смех. Сказка о двух концах. Рассказ о слепом и высоком. Сон Николая Васильевича. Душа ее ребенка. Страна зеленых озер.

К достоинствам их следует отнести простой, ясный и, в большинстве случаев, точный язык и здоровые тенденции автора, совпадающие с революционными задачами современности. Тематика рассказов — преимущественно, рабочий и крестьянский быт; исключение — рассказы „Иностранец из № 17“, „Рассказ о слепом и высоком“ и некот. др.

★

НИНА СМИРНОВА

ЗАКОН ЗЕМЛИ

Рассказы

Стр. 267. Ц. 1 р. 90 к.

Сборник рассказов талантливой сибирской писательницы Нины Смирновой. Рассказы проникнуты неподдельным пафосом — радостью жизни — единственным „законом земли“. В сборник входят следующие повести и рассказы: Закон земли (Закон земли. На реке. Кордон № 6. Горбачи. Столб. Волчья мечта). Трилистники (Верка, Танька Протасихина. Аннино счастье. Тишина. Темнота. Гошка-Бушуй, Былинка). Гуси-Лебеди (Куржак. Лесные сплавы. Паводок).

Продажа во всех магазинах и отделениях Госиздата

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

БОР. ПИЛЬНЯК

РАСПЛЕСНУТОЕ ВРЕМЯ

Рассказы

Стр. 227. Ц. 1 р. 60 к., в папке 1 р. 75 к.

СОДЕРЖАНИЕ: Расплеснутое время. Очередные рассказы. (Олений город Нара. Как создаются рассказы. Нерожденная повесть. Без названия. Жулики. Человеческий ветер. Грэго-Тримунтан. Год их жизни. Снега. Сторона ненашинская.) Большое сердце. Повесть о ключах и глине. Старый дом.

★

ГЕОРГИЙ УСТИНОВ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Повести и рассказы

Стр. 367. Ц. 2 р. 25 к., в папке 2 р. 45 к.

СОДЕРЖАНИЕ: Дружок. Два берега. Любовь. Пропавшие годы. Четвертая башня. Черный ветер. Плотина. Глухая зимница. Васильковая песня. Степкины чары.

Продажа во всех магазинах и отделениях Госиздата

1 р. 50 к.

INFORMATION
JR
CONSERVATION, INC

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00004718826